АНГАРА

5

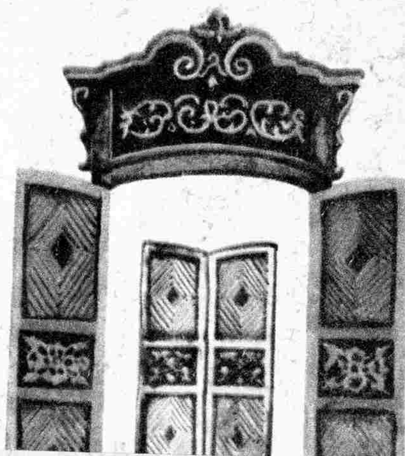
1970

СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

РЕЗЬБОЙ ДЕРЕВЯННОЙ С ИРКУТСКОЙ ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ



АНГАРА

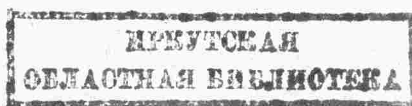
5|70

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ГОД ИЗДАНИЯ 40-Й

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ



На второй и третьей страницах обложки плакаты выпускника Иркутского училища искусств Валерия Кунца.
На вклейке — фото Э. Зиннера и Б. Дмитриева.

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, № 36, Дом писателей. Телефон 4-56-76.

Восточно-Сибирское книжное издательство.

Горячо рекомендую читателям «Ангары» повесть Г. Кунгурова «Оранжевое солнце». Она написана свежо, интересно и посвящена людям социалистической Монголии — нашего соседа и настоящего друга.

К. Седых.

Г. КУНГУРОВ

ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ

Повесть

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ УМНЕЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ

Жгучий полдень; небо голубое, стеклянной прозрачности; воздух раскален, кажется, камни дымятся, прислушайтесь — даже потрескивают. Степь не зеленый простор, а желтое море с красноватыми и фиолетовыми отсветами. Одинокие цветы — белые, красные, фиолетовые — стоят прямо и гордо; между ними по мелкой россыпи камней — черные молнии, они мелькают и вспыхивают, это ящерицы здешних накаленных мест. А вон те полосы изумрудной зелени — степная благодать, лучшие пастбища для скота. Так пестра пригобийская степь Монголии.

Если взглянуть вдаль, горы возвышаются над степью, они оторвались от нее, плывут. Всмотритесь, это не горы, это облака; они то похожи на цепи скал, то на длинный караван огромных верблюдов, то вдруг вытянутся вверх, как серые трубы заводов. А закат? Сиренево-розовый простор угасает, быстро меняя краски; за короткий миг перед глазами сменяются все оттенки радуги, охватив небосвод от края до края. Есть ли на земле что-нибудь красивее?..

Найдется ли монгол, который не знал бы в пригобийских степях пастуха госхоза Цого? Почтенный монгол награжден орденом Сухэ-Батора, передовой чабан, знаток пастушеского дела.

Посмотрите на этого прославленного арата—прост, среди других будто бы ничем и неприметен: среднего роста, узкоплечий, тонконогий. Седые виски, жиденькие усы, как мышиные хвостики, реденькая бородка пепельного цвета. Степенно-строгое его лицо с острыми скулами, обожженное солнцем и прокаленное степными ветрами, оживляет узенькие щелки глаз; в них поблескивает умная, немного насмешливая хитринка. Она всегда переменчивая, и люди привыкли: если Цого сердится, хитринки его глаз — колючки, они обжигают, отталкивают; если Цого радуется, у всех веселые лица. Синий халат старого покроя, мягкие монгольские сапоги-гутулы — неизменный наряд Цого. Никогда не расстается он со своей гансой — трубкой с длинным чубуком. К этой трубке и синему халату, выгоревшему

на солнце, потерявшему свою яркую окраску, привыкли все; старики посмеивались: Цого и родился в этом халате с трубочкой во рту.

Все-таки была у Цого редкая примета, дорогая и для взрослых и для детей: он — прославленный на всю восточную степь сказочник.

Любил Цого ставить свою юрту на склоне горы, где-нибудь повыше. Нетрудно догадаться: поднимешься выше — вся степь перед глазами. Выбирать пастбища Цого умел. Крупный и мелкий скот, доверенный госхозом его юрте, радовал. Руководители госхоза, люди, знающие толк в степных делах, хвалили пастуха, отмечали его успехи грамотами, прославляли благодарностями:

— У Цого скот и летом, и зимой высокого нагула, упитанный, гладкошерстный, выносливый.

Жил Цого в своей белой юрте не один, а у каждого живущего свое лицо и свои желания. Бывало, не успеет он выбрать для юрты достойное место, уже слышится недовольный голос Дулмы, его жены:

— Опять залез на гору, что тебе в степи места мало? Для умных, где вода — там и юрта! Глупый лезет на гору...

Цого не уступал, жена к этому привыкла, молча помогала ставить юрту. Дулма — хозяйка юрты, смуглолицая, в молодости красивая монголка, хорошо сложенная, сильная. Сейчас лицо ее в морщинах, волосы с проседью. Приветливые и живые глаза, крепкие и умелые руки, легкие движения — лучшие приметы достойной подруги и помощницы Цого. В юрте и порядок и убранство опрятной хозяйки, знающей толк в вещах, которые необходимы и украшают юрту кочевника. У входа, направо — уголок хозяйки: посуда, вода в небольшой бочке, ведро, полотенце, на подвешенной кожаными тесемками полочке — продукты. Рядом два комода, причудливо расписанные монгольскими мастерами, на первом — Арслан-лев, усыпанный желтыми, красными, синими цветами, на втором — щедрая зелень степи, всадник на необъезженном скакуне, взлетевшем на дыбы. В юрте две низенькие, но широкие лежанки, накрытые толстой кошмой, на них шубы, одеяла, подушки. У самого входа в юрту — ящик с аргалом, на колышках — уздечки, сбруя, рядом седла.

Где же скот, кто его пасет сейчас?

Есть еще три жителя в белой юрте: младший сын Доржи и два внука — Гомбо и Эрдэни. О Доржи не надо говорить, он в юрте гость: приехал на летний отдых, учится в городе на ветеринара.

На сердце Цого незаживающий рубец, с ним он уйдет в то далекое, откуда никто не возвращается. Это гибель его старшего сына Тумура. Его знала и помнила вся степь — бесстрашный охотник, тот, что не боялся вступить в единоборство с кабаном — грозой всех охотников, промышляющим в болотистых лесах. Горько вспоминать горькое...

В старое время что имел арат Цого? Рваную юрту, десять баранов да двух колченогих верблюдов. Подрос старший сын Тумур; как-то сидели они у очага, Цого вздохнул:

— Сын мой, не могу я дать тебе ни лошади, ни коровы. Дарю ружье и лучшую охотничью собаку, кормись охотой...

Тумур летом и зимой охотился. Продавал пушнину, покупал скот. Ухаживал бережно. Скот умножался. Поставил себе юрту, женился. Жить бы Тумуру в своей юрте с женой и детьми, но кто знает, что случится завтра? Забежал в эти места неслыханной дерзости зверь. Долго рассматривали охотники отпечатки лап на сером песке; следы волчьи, но огромные, не меньше верблюжьих. Резал зверь коров, баранов, коз. Замучились араты, многие семьи бросили родные места, укочевали. Шесть волкодавов у Тумура, и за короткий срок потерял он трех. Весной случилось невиданное — погибла лучшая собака Тумура. Переполошился весь район: как мог волк и что это за волк, если он задушил самую сильную и надежную собаку? Тумур потерял покой: «Отыщу злодея, прикончу!» Отыскал, убил, смотрел удивленный: матерый волк оказался с гривой, длинноногий, с темной окраской. Редкий гость, таких волков ни один охотник не встречал, забежал он из Гоби.

В один печальный для Тумура день, поздней весной, натолкнулся он на волчье логово. Заглянул, волчата темной окраски; засунул их в кожаный мешок, взвалил на седло. Зная, что волчица не уходит далеко от своих детенышей, и зная, как она страшна, поспешил вскочить на коня. Из зарослей чахлого кустарника вырвался гривастый матерый волк. Тумур вскинул ружье и выстрелил. Раненый зверь отпрянул в сторону и, ковыляя на трех ногах, оставляя кровавый след, скрылся за бугром. А за спиной охотника кралась волчица, и только он занес ногу, чтобы поставить ее в стремя, волчица, услыхав писк волчат, бешеным рывком бросилась на Тумура, повалила его, смертельно вцепилась в шею, перегрызла горло.

Так погиб Тумур... В юрте его остались жена и два маленьких сына— Гомбо и Эрдэни. Жена не пережила тяжкой утраты, заболела и вскоре умерла. Гомбо и Эрдэни осиротели. Цого взял внуков в свою юрту. Дедушка верил — вырастит их лучшими пастухами, бабушка помогала ему, но хранила тайную мечту: хотелось ей видеть внуков шоферами. Не забыла, как впервые возле юрты загудела машина. Посадил ее шофер на мягкие кожаные подушки, и понеслась Дулма по степи, обгоняя ветер. Кто может такое забыть?..

...Взгляните на правый склон холма, там бродят лошади и коровы, их пасет Гомбо, на левом склоне — бараны и козы, с ними Эрдэни. Дорджи лежит на траве, в полутени жухлого куста, читает книжку.

Гомбо и Эрдэни неразлучны; они и в школе учатся в одном классе. Каждый понимает, что между большими друзьями и даже братьями рождаются несогласия. Гомбо твердит — он старший пастух, ему уже пятнадцать лет; Эрдэни — младший, ему только четырнадцать. Случается в жизни такое, что и верить не хочется, а надо. Ростом Эрдэни выше Гомбо; черноглазый, с медно-красными щеками, волосы торчат в разные стороны, жесткие, как сухой дерес, брови вразлет; громкоголосый — барашки пугаются; быстроногий — разве за ним угонишься; ловкий — осенний жеребенок. Ни дедушка Цого, ни бабушка Дулма и не знали, что он боролся с Гомбо и трижды повалил его на траву. Гомбо — коротышка, толстоват,

лицо светлое, глаза серые; любит поспать, потягиваться в тени. Взгляните на него — скот еще жадно пасется, а Гомбо, лениво позевывая, торопит:

— Пора на водопой гнать. Хватит, ладно подкормились, а мы? Время и нам чаю попить, баранины поесть, отдохнуть. Устали и руки, и ноги...

Эрдэни недоволен: еще солнце не встало на полдень, зачем тревожить скот. Братья заспорили. Из-за куста поднялся Доржи, книжку возле куста бросил, посмотрел на ручные часы.

— Рано, пусть попасутся...

Гомбо нехотя поплелся к своему стаду. Эрдэни понесся, прыгая как козел.

...Залаяли собаки, на пригорке всадник, узнали — дедушка Цого. Доржи недоволен:

— Не сидится старику в юрте. Что мы, без него не справимся?

Эрдэни и Гомбо обрадовались: дедушка обещанное выполнит, сказку везет больше мешка с шерстью, и все раскроется, узнаем, что дальше было... У них с дедушкой давнишний сговор: он рассказывает им длинную сказку, хвастался — на все лето хватит. Такая длинная сказка! Дедушка хитрее лисицы, всегда останавливается на самом интересном: не спи всю ночь, думай, и все равно никто не догадается, что в сказке случится завтра. Дедушка умнее ста верблюдов; для него сказка просто сказка, а для Гомбо и Эрдэни — степной ветер, который подгоняет их в спину: иди, быстрей иди! Чуть кто заупрямится, дедушка щелки свои сузит, морщинами на лбу подвигает, Гомбо и Эрдэни настороже, ждут: засунет он руку за пазуху, вынет трубку, закурит — Гомбо и Эрдэни слушать приготовились. Голос у дедушки ласковый — ручей журчащий, заслушаешься.

— ...А курган золотой взорвался, огонь взлетел к звездам; верблюды и лошади разбежались; коровы и овцы повалились на серый песок.

Эрдэни не вытерпел:

— А люди, дедушка?

— Люди укочевали в Гоби, — строго посмотрел он на Эрдэни; не терпел, чтобы в рассказ врывались, как непрошеные гости в юрту. Эрдэни хотел спросить, почему в Гоби? Гомбо дернул его за рукав.

Дедушка набил трубку табаком, синий дымок поплыл над головой, быстро поднялся.

— А хан? А жена монгола Цзука?.. — зашумели Гомбо и Эрдэни.

Дедушка показал пальцем на дверцы юрты:

— Бегите, торопитесь, пора загонять овечек!

Все выбежали из юрты, даже бабушка Дулма. Она тоже любила слушать сказки. Каждый думал: вечером у очага все раскроется, наверное злой хан убил жену монгола Цзука?..

Дедушка спрыгнул с коня, лицо у него пасмурное. Гомбо вздохнул:

— Рассказывать не будет...

— Иди, — толкнул его в спину Эрдэни, — смотри, куда коровы разбрелись.

Хорошая пора после полудня. Сытые и напоенные коровы, бараны, козы, лежат в тени, жуют жвачку; лошади стоят тихие, полудремлют, а

люди — у костра. Чайник на огне бурлит, звонко крышкой играет. Доржи открыл кожаную сумку. Бабушка все приготовила, все уложила. Запахло бараниной. Дедушка ел молча, ловко отрезая ножом у самых губ кусок баранины, бросал в рот щепотку сухого творога и шумно прихлебывал из чашки чай. Вкусная еда. Красиво дедушка ел. У всех в руках ножи, всем хотелось быть похожим на него. Самый старательный Гомбо. Дедушка скосил на него щелки глаз, рассмеялся:

— Не спеши, Гомбо, баранина не сурок, в степь не убежит...

Пообедали. Пошли скот подогнали. Вернулись. Сладко лежать на горячей траве после сытной еды. Эрдэни к дедушке:

— Рассказывай сказку, ты обещал...

Дедушка халат распахнул, достал трубку, не успел зажечь, щелки глаз его хитро вспыхнули.

— На чем я остановился?

Эрдэни заторопился, вспоминая уже рассказанное:

«...Монгол Цзук прослышал, что в одной далекой стране спрятаны драгоценные сокровища. Поехал. Пересек всю степь, в тайном углу земли нашел сокровища. Охватила его жадность. Остался он в этой стране, хотел найти еще больше богатства. Повстречался ему земляк Солмон. Цзук к нему с поклоном:

— Друг, помоги, отвези моей жене вот этот кожаный мешок. Скажи, я скоро вернусь...

...Тяжелый мешок. В нем золотые кувшины, чаши, пояса, блюда. Увидел Солмон, глазам своим плохо верит — такое богатство! Кое-как взвалили мешок на спину верблюду. Устали, сели на холмик отдохнуть. Поднялись, попрощались. Солмон, как старый друг, подержался за халат Цзука:

— Не сомневайся, мешок отдам твоей жене, будет счастлива...

— Вернусь, дорого заплачу тебе, юрты поставим рядом, кочевать станем вместе.

Едет Солмон по степи, душу его, как въедливая пыль Гоби, засоряет грязное — не отдам, не отдам... Я теперь самый богатый!

...Пробежали день за днем, месяц за месяцем, пришла пора, вернулся Цзук домой. Жена встречает, видит, что на спине верблюда и поклажи нет.

— А где же, Цзук, твое сокровище? Искал и не нашел?

Цзук обиделся, удивленно оглядел жену:

— Солмон увез тебе кожаный мешок, полный богатства! Где же он?..

— Глупый сурок и обманщик, никакого мешка я и не видела...

Цзук поспешил к Солмону:

— Где мешок?

— Жене твоей отдал, даже спасибо не сказала...

Цзук выбежал из юрты Солмона, закричал на всю степь:

— Я убью ее, злодейку, куда она девала мешок! Где мое золото?!»

Эрдэни умолк, тронул дедушку за рукав халата:

— Ну, давай говори, дедушка. Где мешок? Кто обманщик?

Трубка у дедушки погасла, валялась на траве, а он уснул. Жаль, не узнали, кто обманщик...

Эрдэни и Гомбо поднялись и ушли на речку. У них была своя тайна. Еще в школе сговорились они, что убегут из юрты дедушки и дойдут вон до тех гор, чуть синеющих в тонкой дымке. За горами — белое озеро. А какое оно? Надо же увидеть. День уходил за днем, а беглецы не спешили. Гомбо не хотел идти так далеко, можно устать и зачем смотреть на белое озеро? Стоит ли мучить ноги? Дедушка скоро разберет юрту, будем кочевать на новое место. Может быть, к тому белому озеру. Эрдэни громко смеялся над Гомбо, но и сам не торопился бежать из юрты. Задерживала сказка. Кто обманщик? Где мешок с драгоценным сокровищем? Речка небольшая пробивалась через горячий песок и заросли сухого дерева. Вода коричневая, теплая. Искупались. Легли, стали смотреть в небо, белое, как молоко. Слушали стрекотание кузнечиков, жужжание ос. Потом уставили глаза вдаль. Эрдэни поскреб ногтем лоб: думал, думал, спросил:

— До синих гор идти надо три луны, а может и больше... Ты, Гомбо, дойдешь?

— Нет. Мои ноги не послушаются и не пойдут...

— Зачем нам мучить ноги — поймаем в табуне двух лошадей и поедем.

— Надо ли ехать? Разве тут нам плохо? Поедем, а чем будем кормиться? Где спать? Может, ты, Эрдэни, юрту с собой берешь?

— Дурак ты, Гомбо. Помнишь, дедушка говорил, что в степи всем хорошо. Живут тарбаганы, лисицы, дикие козы, птицы, зайцы. Проживем и мы...

— А ты, Эрдэни, умный? Забыл, что по степи рыщут волки, бегают шакалы, дикие кошки!..

— Не забыл. Возьмем дедушкино ружье. Сумка всегда будет у нас набита жирной едой.

Долго бы переговаривались Гомбо и Эрдэни, да послышался над степью сердитый голос Доржи. Еще не смолкло эхо, братья сорвались с места, побежали к своим стадам.

Вечером усталые вошли в юрту, сели у очага. Бабушка готовила ужин. Сидели недолго, услышали шаги дедушки. Открылась дверца юрты, показалось облако табачного дыма, за ним трубка, а за нею и сам дедушка. Бабушка потянула носом, уловила знакомый дымок:

— Пришел коптить юрту, выбрось изо рта трубку, скоро закипит котел, будем ужинать.

Дедушка опустился на коврик, сложил ноги крестиком, услышали голос его:

— Вы догадались, кто обманщик? Куда попал кожаный мешок с золотом? Не знаете? Тогда слушайте: «Прибежал в свою юрту Цзук, схватил нож, бросился на жену:

— Я тебя, воровка, зарежу, ты украла и спрятала все мое богатство! Сознавайся, где ты его закопала?.. Не родне ли своей его подарила?

Жена заплакала, закрыла лицо руками:

— Успеешь меня убить, мешок мне Солмон не давал; обманщик он, сокровище забрал себе...

— Врешь! Все поедем к хану-повелителю, пусть рассудит!

Узнал Солмон, прибежал в юрту своего дружка:

— Возьми пять баранов, скажи: видел, отдал Солмон золото жене Цзука.

Дружок пять баранов взял, согласился идти свидетелем. Успел обежать Солмон три юрты, в каждой отдал по пять баранов, стало у него три свидетеля. Едут они на лошадях, орут, чтобы все монголы слышали:

— Отдал, отдал!

Вошли во дворец хана-повелителя, еще громче закричали свидетели:

— Отдал, отдал!

Хан уши заткнул:

— Оглушили! Садитесь вот сюда, отвечайте: отдал Солмон кожаный мешок жене Цзука? Видели своими глазами? Слушали своими ушами?

— Своими глазами видели — отдал; своими ушами слушали — сказал: «Возьми!» Взяла, от радости в новый халат небесного цвета нарядилась, угостила нас крепким кумысом...

Жена Цзука заплакала, хотела хану правду сказать, а он волчьими глазами ее обжег, ногами затопал:

— Слезы притворной женщины — молоко, разбавленное грязью!

Оправдал Солмона, пожелал ему и дружкам его счастливо кочевать. Вышли они в обнимку, сели на коней, запели песню, в ней хвастались: всю родню соберем, зарежем сорок баранов, сорок жеребят, будем пировать десять дней и десять ночей!

Цзук кулаки сжал, бросился на жену:

— Зарежу тебя, воровка! И хан за это похвалит!..

Перепуганная жена умирать собралась. Подходят к золотому кургану. Мальчики играли у его подножья. Курган был волшебный. Кто первым за одно дыхание смог забежать на его вершину, становился самым умным на свете... Слышат голос мальчика, который побывал на вершине, он умнее всех на свете:

— Солмон обманщик! Обманщик! Не верьте ему!.. Не верьте ему!..

Солмон и его лживые дружки разъярились, как быки:

— Ты, неободранный козленок, умнее хана-повелителя? Он тебя обдерет, из твоей кожи черный барабан сделает, чертей из юрты выгонять!..

Повернули в сторону юрты Солмона, вновь запели песню. Звонкий голос мальчика оборвал их песню:

— Обманщики, сами себя опозорите! Ложь — прогорклое масло, выльется наружу!.. Хан — слепой сурок: ложь принял за правду?!»

Дедушка умолк, выбил трубку о кончик сапога, потом оглядел своих слушателей:

— Обманщики вскоре сами себя опозорили, ложь наружу вылилась...

Все закричали, позабыв о кипящем котле с варевом:

— Как мальчик доказал? Дорогой дедушка, расскажи!

А он вскочил со своего коврика да к котлу:

— Котел опрокинется, еда разольется... Ужинать, скорее ужинать!.. Смотрите, какая жирная баранина!

Все пододвинулись к котлу, Дулма разлила бараний бульон по чашкам. У каждого в руках жирный кусок! Гомбо и Эрдэни ели, торопились, обжигали губы, даже Дулме и Доржи не терпелось, хотели и они знать, как обманщики сами себя опозорили?

Поужинали, попили чай, смотрят на дедушку просящими глазами, ждут. Он молчит. К этому привыкли, торопить его не надо. Поднялся, вышел из юрты, опять вошел, присел к очагу, закурил трубку. Все обрадовались: усики разглаживает, говорить будет. Дулма платок с ушей сбросила, чтобы не мешал ей слушать. Дедушка о сказке забыл, заговорил о другом:

— Завтра пораньше вставайте, будем перегонять скот за Желтый холм. Где ваши глаза? Почему не заботитесь: пастбища выбиты, скот худеет.

Доржи хотел отговорить перегонять скот, пастбища не выбиты, кормов много, но знал: никто не заставит отца отказаться от задуманного, такого не бывало. Терпеливо выслушали все советы и наставления: каждый понял, что ему делать завтра.

Дедушка недоволен, и все услышали:

— Время спать, завтра встанем до солнца.

Первым вскочил Эрдэни, за ним бабушка Дулма, а сказка?

Дедушка подставил чашку, Дулма наполнила ее чаем, выпил, погладил усы и бородку. Все ждут, уши навострили. Заговорил:

— Мальчик, который умнее всех на свете, сидя на вершине золотого кургана, спросил дружков Солмона, хорошо ли они разглядели богатые подарки кожаного мешка? Лжесвидетели руками замахали, орут на всю степь:

— Хорошо видели! Своим глазам верим!..

Мальчик дал каждому кусок глины:

— Вылепите точную форму сокровищ, если вы их так хорошо рассмотрели!

Цзук и Солмон первыми принесли точные слепки форм, лжесвидетели явились мрачные под вечер. Точно вылепить ничего не могли, сокровищ они не видели. Один дал слепок, похожий на конскую голову, второй — на баранью, третий под громкий хохот всех показал слепок-лепешку, похожую на коровий помет.

Узнал хан-повелитель, сорвался с трона, как подстрелянный шакал, крикнул палачей Острые Мечи, приказал схватить Солмона и его лжесвидетелей, на глазах почтенных монголов укоротить рост каждого на одну голову...».

ОРЕЛ И ОРЛИЦА

Ночь накрыла степь тяжело и плотно. Клочок неба повис над верхним просветом юрты; через это плотное небесное одеяло глядело на землю множество глаз, они видели, что делалось в каждой юрте; то мигали многоцветными отблесками, то, уставившись, светили неподвижным белым огнем.

Эрдэни и Гомбо лежали в мужской половине юрты на одной кошме, под одной бараньей шубой. Сон убежал от них. Кто же уснет, если узнает

столь важное: завтра дедушка уезжает на центральную усадьбу госхоза; его позвали на совещание передовых скотоводов, из города приедут большие начальники. Вернется через два дня. С ним уезжает и Доржи, ему пора возвращаться в город.

Чуть рассвело, бабушка разбудила внуков. Подниматься им не хотелось, задремали только под утро. Ели горячие лепешки, запивали чаем, густо заправленным молоком. Первым поднялся дедушка, за ним остальные. Вышли из юрты. Если имеешь глаза, красивое всегда тебя обрадует. Еще не поднялось солнце, а восточная сторона неба светилась; степь казалась черной и все вокруг черное. Удивительное не там, где белеет молочная кромка неба; не смотри и в черноту степи, ничего не разглядишь, неожиданное рядом. Гомбо и Эрдэни переглянулись, у коновязи пять оседланных лошадей; какие не видно, все густо-темной масти. Подошли к коновязи. Дедушка сел на своего буланого жеребчика, Доржи — на гнедка, Дулма на савраску, Гомбо и Доржи показалось, что под ними самые резвые скакуны — серые жеребчики. Никогда дедушка не разрешал на них ездить...

До глубокого распадка, заросшего чахлой зеленью, ехали молча. Стало светать. Остановился дедушка, слез с лошади. Вскоре все сидели тесным кружком возле обглоданного ветрами серого валуна. Дедушка распоряжался:

— Дулме пасти барашек и телят, их пастбище ближе к юрте; Эрдэни — лошадей, Гомбо — коров.

Помолчал, положил руку на плечо Гомбо:

— Следи за шалым быком, озлобится, может до смерти забодать любого бычка. Близко подъезжать к нему опасайся, отгоняй осторожно...

В степи совсем посветлело. Разъехались. У каждого своя дорога. Поднялось солнце и медленно покатилось над кромкой, где сливается небо и степь. Эрдэни не стал им любоваться, пусть катится, оно проделывает эту работу каждое утро. Он вспомнил, что мешок с едой приторочила бабушка к седлу Гомбо. Вздохнул: уж не просунул ли он руку в мешок? Эти мысли отлетели, как надоедливые мухи. Эрдэни стоял, удивленно раскрыв глаза. Солнце зажгло каменную скалу, что возвышалась далеко, за семи холмами, за Красным озером. Вершина уступа осталась черной, но в середине ее светился белый огонь. Попылал он недолго, стал гаснуть, вновь зажегся, только голубым огнем, ширился, охватил всю скалу, она поднялась над степью, высокая, красивая, такой она видится днем. Эрдэни понял, что было уже не утро, разгорался день. Близко свистнул сурок, за ним другой, и начался пересвист, заслушаешься. Дедушка говорил, что дружным пересвистом сурки встречают день. Слушать не пришлось. Солнце осветило склон холма, где паслись лошади, они так разбрелись, что и до полудня не соберешь. Эрдэни вскочил в седло и помчался по склону. Подгонять лошадей помогали собаки. По зеленому склону хороший корм, трава после ночи мягкая, сытная. Лошади жадно едят. Эрдэни на пригорке, с коня ясно видятся ему голубые уступы скалы. Совсем близко, даже расщелины, черные трещины рассмотреть можно. Съездить бы к скале. Эрдэни пом-

нит, дядя Мягмар говорил: «Если на Голубой скале не бывал, ты и света не видал». Там встретишь и красную лисицу, и диких козлов, услышишь клекот белых птиц; у подножья светлый ключ, дно усыпано разноцветными камешками, они играют и переливаются на солнце. Всюду кусты кислицы. С высоты большого уступа видны далекие степи, бегут машины, идут караваны верблюдов.

Долго смотрел Эрдэни, не отрывая глаз от Голубой скалы. Она словно двигалась ему навстречу, казалось, она совсем недалеко. Поедет ли Гомбо?

...В полдень табун лошадей и стадо коров Гомбо сблизились. У тощей речки с мутно-желтоватой водой скот скопился в беспорядке; напоить его было трудно. Возились немало. Усталые сели у речки на плоский камень. Эрдэни приметил, что мешок с едой тощий. Время ли упрекать Гомбо? Торопливо поели. Сговорились, пока скот в жару будет отдыхать, они побывают у Голубой скалы.

Подтянули седла, поехали. Миновали два холма, объехали каменную россыпь, поднялись на горку и приостановили лошадей; Голубую скалу, которую видели они так близко, сейчас будто кто-то отодвинул. Проехали еще два холма и Красное озеро, Голубая скала еще дальше отодвинулась. Остановились, жмурясь от солнца, жадно смотрели. Степь — море без берегов, куда ни глянешь — все степь... Гомбо глаза расширил, спросил у Эрдэни:

— А у степи есть конец?

— Дедушка рассказывал, как один монгол искал конец степи...

— Нашел?

— Поехал мальчишкой, таким, как мы, по дороге сменил тысячу лошадей, состарился: поседел; встретил такого же белого старика: «Далеко ли до конца степи?».

Тот рассмеялся: — Сам ищу. У всех спрашивал. Судьба меня столкнула со стариком, ему более ста лет, показал на луну:

— Далеко она?

— Далеко, — ответил я.

— Конец степи еще дальше!

Гомбо недовольно хлопнул по сапогу плеткой.

— Не вернуться ли нам обратно?

— Нет. Мы ехали худым путем. Надо прямо, мимо вон той желтой полосы.

Повернули лошадей, отъехали немного, путь перебежало стадо диких коз, шарахнулись они в сторону, потом бросились в открытую степь. Красиво бежали. Эрдэни радовался.

— Поедем за ними, бегут они к Голубой скале.

Гомбо придержал лошадь.

— Высоко уже стоит солнце, вернемся...

Оба посмотрели в сторону скалы, заулыбались — пододвинулась она так близко — протяни руку, упрешься в голубой камень. Погнали лошадей. Ехали, торопились, а у подножья скалы слезли с лошадей, когда солн-

це склонилось к западной стороне степи. Эрдэни прыгал с уступа на уступ, кричал, сложив ладони рупором:

— Эг-гей! Это мы — Гомбо и Эрдэни! Степь, ты видишь нас?..

Братья слушали, как катилось эхо, как долго оно не умирало. Бегали, резвились. Вдруг притихли; над головой с шумом взметнулась птица, ее огромные крылья проплыли тенью по земле. Увидели невиданное: черный орел нес в когтях добычу — зайца. В расщелине высокого уступа — орлиное гнездо, слышался клекот, видно, орлята жадно рвали добычу, а зайца принесла им орлица.

Эрдэни сбросил халат.

— Мы добудем орленка! Пусть живет у нас в юрте,— он начал карабкаться по скале вверх.

Гомбо подпрыгивал, подбадривая брата:

— Давай, давай!

Эрдэни с трудом одолел несколько уступов, до гнезда было еще высоко. Передохнул, полез выше. У самого гнезда едва не сорвался; ударила его крыльями орлица. Не отступил, подтянулся к самому гнезду. Какое большое!.. У орлят длинные голые шеи, раскрытые клювы, круглые желтые глаза. Орлица сорвалась, сделала круг, ударила грудью в спину Эрдэни, сделала второй круг, налетела, стараясь ударить его клювом в затылок. Удар сильный, Эрдэни повис на руках, болтая ногами, ища опоры. Орлица свирепела, начала рвать когтями рубаху на спине Эрдэни. От боли он сжимался, пытался увертываться от ударов. Перепуганный Гомбо кричал снизу:

— Береги голову! Клюнет, клюнет!..

Эрдэни ничего не слышал. Опираясь коленями в камни, засунул голову в расщелину. Птица озлилась больше, нападала беспощадно. На помощь брату полез Гомбо. Карабкался неловко, руки и ноги у него дрожали, на глазах слезы. Орлица оставила Эрдэни, сделала круг над Гомбо. Перепугала его, руки ослабли, скатился он вниз, раскровянив локти. Орлица вновь набросилась на Эрдэни. Раздирала рубаху, когтями, как железными крючьями, царапала спину, руки, плечи, и когда своим острым клювом ударила его в шею, он от боли так громко закричал, что внизу услышал Гомбо, закрыв лицо ладонями, упал на камни. Эрдэни ослабел, стал медленно сползать с уступа. Беда надвигалась черной тучей. Видно, устала и птица, сидела на острой кромке камня с широко раскрытым клювом и раскаленными глазами. Едва Эрдэни расслышал слова Гомбо. Тот кричал:

— Ставь ногу правее на каменный выступ!

Эрдэни едва нащупал выступ. Орлица остервенело сорвалась, и опять ее железные когти нависли над окровавленной спиной Эрдэни, но у него освободились руки и он отбивался, пытаясь отогнать орлицу. Гомбо срезал длинную ветку серого запыленного куста, залез на выступ с другой стороны скалы, размахивал веткой и кричал, пугая птицу. Она оставила Эрдэни, села чуть повыше и, уставив свои огненные глаза, пыталась угадать, какая опасность ждет ее снизу. Пока орлица сидела, озираясь, Гомбо набрал камней. Поднялся еще на два уступа выше. Эрдэни теперь его

слышал. Он показывал ему на левую сторону кручи, где зияла черная выбоина. Там мог он укрыться. Окрашивая камни кровью, собрав остатки сил, Эрдэни пополз по узкому карнизу скалы к выбоине. Орлица словно догадалась, куда пытается укрыться ее жертва, расправила крылья. Гомбо отчаянно отгонял птицу камнями. Эрдэни залез в выбоину; орлица не могла его достать, но села рядом, как неотступный страж.

...День клонился к вечеру. Гомбо уже давно ускакал на лошади, чтобы на перепутье дорог остановить машину, просить помощи. Эрдэни стонал, теряя силы, истекая кровью. Где же брат? Не мог он его бросить...

Машин, пересекающих степь, много, но это тяжело груженные транспорты, им нельзя отклониться от своего пути. Гомбо удалось остановить газик.

К подножью Голубой скалы газик подъехал, когда солнце уже прощальным светом озаряло степь и небо. Скала хорошо освещена закатом. Из машины вышли люди. Орлица не хотела сдаваться, и кто бы не пытался залезть на скалу, бесстрашно кидалась, рассекая крыльями воздух.

Пожилой монгол в военной форме покачал головой и сказал:

— У нее гнездо... Хотя она и мать, но злая мать, придется застрелить...

Раздался выстрел. Орлица, распластав крылья, обрушилась вниз, оставляя на остриях камней черные перья. Эрдэни бледного, окровавленного, едва живого, сняли со скалы, оказали помощь, отвезли в юрту Цого. Поздно вечером приехал и Гомбо.

Бабушка Дулма плакала. Люди, которые привезли Эрдэни, обещали завтра прислать фельдшера. Голубая скала принесла юрте Цого несчастье. Бабушка наполнила большую чашку молоком, вышла из юрты, повернулась лицом к востоку, быстро зашагала, поливая землю молоком. Она верила в старое: по этой молочной дорожке к Эрдэни вернется его здоровье.

На другой день приехал фельдшер. Промыл Эрдэни раны, покрыл мазью, перевязал, дал горькие порошки. Эрдэни лежал на животе, молчаливый, обиженный. Ждали дедушку. Он вернулся веселый. Удачное совещание. Дверцы юрты приоткрыл, ворвалась любимая его песенка:

Иноходец быстро бежит —
Ветерок степной.
Жаркое небо горит
Над моей головой...

Бабушка встретила его, пряча свои опухшие от слез глаза: не знала, как начать рассказывать о беде; Цого догадался, послышался его громкий смех:

— Знаю! На усадьбе все знают! Молодец Эрдэни, на самую вершину залез... Боязливый не полезет! Где он?..

— Лежит больной, — робко ответила бабушка, ничего не понимая.

Дедушка опустился к постели Эрдэни:

— Здорово тебя наказала орлица... Гнездо — юрта матери, воров не пустит. Будешь осторожнее, не лезь в огонь, сгоришь!..

...У котла сидели не все, не было Доржи, лежал в сторонке Эрдэни. Поужинали. Дедушка опять пододвинулся к постели Эрдэни:

— Ты счастливый, орлицы злее волчиц, набрасываются и норовят выклевать глаза...

— Я голову спрятал в расщелину,— тихо ответил Эрдэни,— потом залез в черную выбоину...

— О, ты дважды счастливый, в таких расщелинах и выбоинах нередко гнездятся змеи...

Услышала бабушка, громко заплакала, подбежала к постели больного, обняла его. Дедушка отодвинул ее:

— Иди вари кобылье молоко, снимай густые пенки, сквашивай их. Завтра пойду в степь, разыщу юрту Бодо, у него всегда в запасе целебные листья с кустов гобийского бутургана, корень гоё, их разотрем, смешаем с пенками — крепкое лекарство, им будем лечить раны. Заживут...

Бабушка испугалась:

— Ты что, фельдшер? Больница дала мазь...

— Больничная хороша, если добавим нашей, будет еще лучше!..

Эрдэни стонал, чашку с чаем отодвинул, ни лепешку, ни сухой сыр есть не стал. Дедушка свою трубку табаком набил, не зажег, высыпал табак обратно в кисет, трубку спрятал за пазуху. Опечаленные бабушка и дедушка вышли из юрты. В ногах больного сидел Гомбо. Эрдэни спросил шепотом:

— Орлицу застрелили, да?

— Я перья от крыла привез, показать?

— Не надо, жаль птицу...

— Мало тебе от нее досталось?..

— Орлята пропадут,— вздохнул Эрдэни.

Скрипнула дверца юрты, у постели — дедушка.

— Сказку будешь слушать про орла и орлицу?..

— Нет. Расскажи про мальчика, который умнее всех на свете...

— Он и в этой сказке поставил правду на ноги...

Дедушка по привычке вынул трубку, но спрятал ее. Эрдэни взял его за руку:

— Кури, дедушка, я дыма не боюсь.

— Знаю, ты ничего не боишься,— улыбнулся Цого. — «На крутой горе, под снежной шапкой спряталось орлиное гнездо. Орел и орлица жили дружно, пока не было у них детей. Появились орлята, заспорил орел с орлицей: кому кормить птенцов?

— Корми ты! — сердилась орлица. — Я и так устала, высиживая их...

— Нет, кормить тебе, ты — мать!

Спорили, спорили, голодные орлята кричат, всюду слышно.

Слетелись все птицы:

— Покоя нет от крика орлят и жаловаться некому; орел наш царь, ему же не пожалуешься на его же собственных деток!..

Спорили, решали, надумали — кормить орлят всем птицам по очереди. Первым полетел голубь, принес зернышки пшена; орлята не едят. За-

мучились птицы; угодили только сова и филин — они носили орлятам мышей, мелких пташек. Выросли орлята, не признали ни отца, ни матери. Для них сова и филин дороже родителей. Полетели орел и орлица жаловаться хану, всего живого повелителю. Орел, гордо выставив грудь, по-царски прошелся перед троном хана:

— Беспорядок в твоем царстве, великий хан, дети не признают своих родителей...

Возмутился хан: — Где они? Пусть явятся ко мне негодники!

Прилетели красавцы молодые сильные орлики, важно прошлись перед ханским троном, залюбовался он ими.

— Почему не признаете родителей?

— Признаем, признаем — сова и филин!

— Век доживаю, не слышал, чтобы совы и филины родили орлят.

— Мои дети! — услышал хан клекот орлицы.

— Мои дети! — с достоинством добавил орел.

Хан ударил в барабан, стоящий у трона. Прибежали воины, в руках луки и железные стрелы.

— Убить сову и филина! Никто не поверит, что эти гадкие птицы выкормили орлов!..

Летят орел, орлица с орликами мимо золотого кургана. Налетела буря, придавила птиц к его подножью. Послышался голос:

— Поверили хану повелителю? За добро уплатили злом?!

Услышали это орлики, бросили отца и мать, взвились ввысь и скрылись в синем небе...».

...Залаяла собака. Дедушка и Гомбо выбежали из юрты. Овцы вырвались из загона, побежали в степь. Кто их напугал? Вернуть не могли, оседлали лошадей, загнали непослушных на место, двух собак к выходу поставили — надежные сторожа. Спать легли поздно. Тишина в юрте, темно. Не спит лишь Эрдэни, глаза открытые, хочется ему поглядеть в верхний просвет юрты на густо-синее небо. Не может, болят спина и плечи, лежит на животе, ждет утро.

Раньше всех поднялась бабушка, затопила печурку, налила в котел воды. Ушла доить коров. В юрте посветлело. Дедушка разбудил Гомбо. До утреннего чая надо выпустить овец и телят; поглядеть, где пасутся лошади. Невдалеке свистел пронзительно сурок, лаяли собаки, мычали коровы, — день разгорался.

В юрте запахло вкусным. Ели лепешки с жирными пенками, творожные колобки, сваренные в молоке. Пили густой чай из больших чашек. Поставили еду к постели Эрдэни, он ел плохо. Скоро юрта опустела, у всех дневные заботы. Лежит Эрдэни под бараньей шубой, а в юрте его нет... Он скачет на резвом скакуне, впереди холмы, конца им нет. Лошадь мокрая, устала, тяжело дышит. Спрыгнул Эрдэни, застонал на всю юрту, слезы закапали: неловко повернулся, от боли заныла спина, закружилась голова, Эрдэни закрыл глаза и поплыл над степными холмами.

...А в степи красота, все радует, все веселит. Слышны строгие слова, узнать нетрудно, дедушкин голос:

— Гомбо, садись на серого, гони к зеленым увалам длинноногих — лошадей и верблюдов, Дулма, садись на гнедого, в широкую долину гони коротконогих — коров и баранов. — Дедушки уже нет, уехал он в дальнюю степь к юрте Бодо. Эрдэни слышал, опять говорили о лечебных гобийских травах. Скорее бы вернулся. Приподнял голову, стал подзывать Нухэ, знал — собака лежит у коновязи, тут ее место; ее работа — сторожить юрту. Нухэ залаял, скреб лапами дверцы, открыть не мог. Глаза у Эрдэни опять закрылись, в юрте потемнело. Вдруг темное побелело. Плывет по небу солнце, золотится степь, сурки свистят, перекликаются. Дверцы юрты распахнулись, ворвался ветер, закружился столик, подпрыгнуло ведро, котел привстал с печурки, покатился из юрты, потерялся в траве. Захлопнулись дверцы. Глушь. Тихо. Эрдэни уснул. Поздний вечер. Разбудил его едкий запах — у печурки дедушка размешивает тальниковой палочкой что-то в черном котелке, сыплет из мешочка зеленый порошок, берет второй, шуршат желтые сухие листочки. Смотрит в котелок, усердно размешивает. Смешной дедушка, нижнюю губу отвесил, щелки глаз совсем сузились, пот струйками льется по щекам; слышится любимая песенка, поет ее приглушенно, боится разбудить Эрдэни, а тот давно ждет, когда он на него взглянет. Не дождался, голову с подушки приподнял:

— Скоро, дедушка, обед? Я немного поспал...

Губы дедушки вытянулись, усмешка пробежала по его морщинам, спряталась в усах и бородке: — Хорошо поспал, скоро ужин...

ЛЕСТЬ И ЛОЖЬ

Больше двух недель проболел Эрдэни. Сегодня дверцы юрты и для него распахнулись. За утренним чаем говорили недолго. Дедушка погнал лошадей к Соленому озеру, бабушка будет пасти овец, дойных коров и телят на западном склоне горы, а Эрдэни и Гомбо — стадо коров и быков на восточном. Собрались, вышли из юрты. Первым уехал дедушка, бабушка задержалась у котла. Эрдэни и Гомбо сели на лошадей. Эрдэни приподнялся в седле. Почему вокруг все синее? И небо, и горы, и степь. Даже коновязь посинела; Нухэ юлит хвостом, и тоже синий... Эрдэни — птица, выпущенная на волю, готовая облететь степь от края и до края. Все-то ему мило: заблеяли барашки — радуется, будто раньше не слышал их ласковых голосов; козленка схватил на руки, щекой приложился. Юрта дедушки стоит на том же месте и совсем не белая, она вся в многоцветных пятнах.

— Посмотри, Гомбо, на нашу юрту — большая и нарядная пиала, опрокинутая кверху дном. Дымок, как шелковая лента, тянется к самому небу...

Вспомнились стихи поэта Сенге, выучил их Эрдэни в школе:

Люблю я, родная Монголия,
Степей твоих пышных приволье,
И рек серебристых просторы,
И лесом покрытые горы.

Гомбо на юрту и не взглянул, стихи слушать не стал, лицо его озабочено: стадо коров потянулось за гору. Злой бык бежит впереди, за ним несколько коров.

— Быстрей, быстрей! — заторопился Гомбо, хлестнул плетью своего скакуна.

Это рассмешило Эрдэни:

— Пока я болел, каким шустрым стал мой брат! — стоял на стременах, глядел вокруг, будто все видит впервые. Гомбо ускакал, скрылся за холмом. Эрдэни погнался за ним, подгоняя лошадь. Поднялся на гору, дул легкий ветерок. И такая светлая даль, будто небо стеклянное. Стал осторожно спускаться по склону. Миновал мелкие каменные россыпи; процокали копыта по серым плитам, гладким, широким, бесшумно спустились на мягкую траву. Впереди холмик из свеженарытого песка, лошадь внезапно остановилась, Эрдэни чуть не вылетел из седла. Лошадь била копытами, пятилась и фыркала. Что с ней такое? — удивился Эрдэни, слез с коня. На песке бился желтый пушистый комок. В капкан, который насторожил дедушка, попал тарбаган. Мужчины всех юрт охотятся на этого крупного сурка монгольских степей — вкусное мясо, хороший мех. Железная скобка прихватила тарбагану заднюю лапу. Зверь отчаянно рвался, пытаясь спастись в норе.

Эрдэни догнал брата; они вернулись. Начали вытягивать тарбагана, вцепились в его пушистую шерсть, зверь упирался головой и передними лапами в стенки норы и, бешено работая задней лапой, вихрил песок, отгоняя преследователей. Братья, напрягая силы, стремились одолеть зверя. Сколько они потратили усилий и времени? Разве это важно: нельзя же упустить такую добычу. Дедушка засмеет.

Бились, вспотели, устали, зверя побороть не смогли.

День в разгаре, небо гладкое, как поляна, братья и не заметили мелких тучек, одиноко плывущих по восточной кромке неба. Эрдэни отвязал от седла кожаную веревку:

— Давай обвяжем его покрепче и вытащим...

Тарбаган отчаянно отбивался, обвязать его не сумели. Постояли недовольные и усталые, вскочили на коней и помчались по долине. Кони резвые, бегут легко, только ветерок в ушах посвистывает. Есть ли для монгола что-нибудь дороже быстрого коня? Дедушка оседлал для них лучших скакунов. Справа холмы, слева холмы. В этих незнакомых местах они не бывали. Корм всюду хороший, куда бежит скот, кто его гонит? Безошибочна примета стариков: сытый скот беспокойно бежит, оставляя лучшие пастбища, готовься к буре. В конце лета обманчива погода в этих местах. Тихий жаркий день вмиг тускнеет, тяжелое небо давит на землю. Худо и людям, и скоту.

Едут и едут братья, нет стада.

...Солнце спустилось низко, когда увидели несколько коров; стадо разбрелось по всей долине. Гонялись за непослушными долго; упрямился злой бык, шарахался во все стороны. Эрдэни взъярил коня, догнал быка, изловчился, ожег его плетью. Глаза быка налились кровью, уперся он,

рыл землю копытами, готов в бешенстве любого посадить на рога. Возились с ним долго; едва не прободал он брюхо лошади Гомбо. Серый скакун, крепкий и ловкий, так увесисто ударил быка в морду, что злобный пыл того погас.

Коров собрали в плотное стадо. Вечерело, темнела степь — густые тучи плыли по небу. Братья вспомнили слова дедушки. Ветер с юга подкрадывается ласково, обдает теплом, но может и напугать. Не бойтесь, быстро налетит, быстро утихнет. Опасайтесь северного ветра: нападает яростно, обрушивается бурей, холодным дождем. Спасайте скот, спасайтесь сами.

Ветер подул с севера.

Погнали стадо в сторону юрты. Гнать нет сил: встречный ветер бил нещадно. Хлынул дождь. Повернули к лесу, чтобы укрыться в кустах. И небо, и степь — непроглядная чернота. До лесу не дошли. Гонимое порывами ветра стадо покатилось вдоль долины. Гомбо и Эрдэни ехали рядом. Гомбо кричал, наклонившись к Эрдэни, тот слов не мог разобрать — глушил ветер и дождь, но догадался. Сошли с коней, сняли с них уздечки, пустили вольно; не надо мешать животным, они сами отыщут убежище. Взялись за руки, пошли вслед. Вскоре лошади изменили направление, коровы и быки, тесня друг друга, послушно шли за ними. Сверкнула молния, осветив окрестности. Лошади не пошли в сторону леса, а двигались по склону холма. Справа — гладкие увалы, слева — камни скал.

— Куда идем? — спросил Эрдэни у Гомбо, склонившись к его уху, закрывая лицо от дождя. Большой дождь, далеко не уйти...

Ветер усилился, косой дождь хлестал холодными струями. Вспышки молний на миг освещали все вокруг. И в этот миг все, что открывалось перед глазами, страшило: зеленые пятна на камнях вспыхивали, зияли расщелинами; холм вырастал в огромное чудище, даже коровы и быки, освещенные молнией, казалось, не шли, а плыли по воде, высоко задрав рогатые головы.

Заржал серый, жалобно замычали коровы. Стадо остановилось. Братья поспешили к лошадям, натолкнулись на дерево, ощупали — остаток столба от коновязи. Лошади привели стадо к старому полуразрушенному загону. Вот изгородь. Где же вход? Отыскали, отбросили жерди; коровы хлынули в загон. Лошади стояли, мотая головами, фыркали.

Ветер свирепел. По сплошной черноте неба видно — дождя еще будет много. В левой стороне загона что-то возвышалось. Натолкнулись на небольшой сарай-времянку. Мокрые, продрогшие вошли в него. Над головой зашумело, раздался пронзительный и противный крик. Братья притаились в углу.

— Не бойся, — сказал Эрдэни, — это сова.

— Не боюсь, — взбодрился Гомбо, — ветер и дождь загонят ее обратно. Давай закроем дверь.

— Лучше пойдем, снимем с лошадей седла и мешок, совсем они размокнут.

В мешке еда, кошмяные подстилки, куртки. Выглянули из дверей, проливной дождь, буря — не пошли.

— Давай греться! — потянул за руку Эрдэни брата в сарай.

Они начали кулаками слегка колотить друг друга.

Гомбо рассердился:

— Зачем сильно бьешь? Не хочу! Мне уже жарко!..

Внезапно шум утих, дождь, который только что лил, прервался. Братья выглянули из сарая.

— Смотри, Гомбо, небо посерело, ветер разгонит тучи.

Принесли седла и мешок. В темноте что найдешь? Гомбо нащупал за пазухой кожаный сверток, вынул коробок спичек, зажег одну; развязали мешок, расстелили кошмяные подстилки, надели куртки, съели по кусочку баранины, легли, прижавшись друг к другу.

— Тепло. Ладно уснем, — радовался Гомбо.

Уснуть не могли. То коровы мычали, то слышались какие-то дикие крики в степи, то ветер гремел по крыше сарая. Если не спится и ты не один, в длинную ночь запретных дорог нет; можно в мыслях и разговорах побывать, где захочешь... Эрдэни и Гомбо в родной юрте. И дедушка, и бабушка в тревоге, они не спят, сидят у печурки. Ждут, вслушиваясь, не залают ли собаки. Беда, не поехал бы дедушка искать. В дождливую ночь легко потеряться. Зажмурь глаза, и унесут тебя мысли, как степные птицы, куда пожелаешь, куда сердце позовет. Братья в аймаке — районном центре. На широкой поляне светло-серый дом под красной крышей — аймачная школа. Перемена. Подбежала Цэцэг, они бегали, играли в лисицу и зайца. Цэцэг — лисица, быстроногая, хитрая. Эрдэни — заяц, даже лисица не могла догнать этого зайца. Звонок. На уроке старый учитель тихим голосом говорит:

— Всему учитесь, от всего будет вам большая польза...

Эрдэни поднял руку:

— А выучиться врать — тоже польза?

Класс насторожился, ученики рассердились на Эрдэни за непочтение к учителю. Класс зашумел, как сухой дерес в бурю:

— Глуп ты, Эрдэни, глуп!

На лице учителя светлая улыбка:

— Глуп ли Эрдэни? Не будем упрекать его; сомнение — беспокойный огонек желания узнать то, чего не знаешь. Я долго прожил на свете, видел разное, послушайте меня:

Шли охотники по степи, поднялись на высокий бугор, стоит маленький монгол в больших гутулах, в желтом халате, в остроконечной шапке, одной рукой щиплет жиденькую бородку, другой показывает вдаль:

— Смотрите, почтенные, возле скалы черное и белое!

Первый охотник с важностью ответил:

— Вижу белое!

Второй — с неменьшей важностью:

— Вижу черное!

Третий оглядел надменно всех:

— Вижу и черное, и белое!

Маленький монгол зашагал, вздыхая:

— Почтенные, там нет ни черного, ни белого...

Заспорили. Пошли к скале, чтобы своими глазами увидеть; заупрямились. Не дошли; набросились на маленького монгола:

— Мы видели, ты — нет! Не думаешь ли, что один умнее нас троих? Убьем! Готовься умереть!..

— Почтенные, пока вы спорили, — развел руками маленький хитрец, — черное проглотило белое, белое проглотило черное!.. Убить меня успеете, солнце еще высоко... Идите за мной, знаю, где добычи много...

Пошли. Привел он их в пустую степь; вскочил на камень, пальцем показывает:

— Смотрите — звери, звери!

Первый важно голову поднял:

— Лисица! Лисица!

Вскинули ружья, нет лисицы — не выстрелили.

Второй кричит:

— Козы, козы!

Вскинули ружья, нет коз — не выстрелили.

Маленький монгол подошел, собрал охотников в тесный круг, низко поклонился:

— Спасибо, почтенные! Спасибо! — пожал крепко всем руки.

— За что благодаришь? — удивились охотники.

— Как за что? Ловкие вы охотники, с вами хорошо охотиться; зверя видите даже там, где его нет...».

— Ученики мои, каков маленький хитрец — в один котел влил и лесть, и ложь, старательно перемешал — худое варево... Подумайте, умом своим раскиньте: наказана ли глупость? Победил ли врун?..

...Вновь братья в классе. В окна заглядывает солнце, золотые узоры на партах, на доске, они двигаются по стене, по потолку, падают на дверь: распахнись, распахнись!

Учитель вошел в класс, оглядел всех:

— Чтобы ваш ум взлетал быстрее испуганной птицы, решим задачу устно...

Скучная работа: думай, считай, торопись. Остригли овец, шерсть сложили в мешки. Сколько было овец, если каждая дала два килограмма, а все вместе двести пятьдесят; сколько получилось тюков, если в каждом по двадцать пять килограммов?

Класс еще решал задачу, а Гомбо, найдя ответ, обрадованно сказал, все услышали:

— 125 овец, 10 тюков...

Учитель почему-то недоволен:

— Гомбо, выйди из класса...

На перемене лисица догнала зайца. По школьному радио хор спел любимую песню народного вождя Сухэ-Батора «Хонин Джоро» — песня о быстроногом иноходце, потом девочка прочитала стихотворение:

Настал сентябрь.
В лесу огромном

Заржавели листы берез.
Сидел один я в юрте темной
И грустно было мне до слез.

Вошел отец.
С улыбкой гордой
Сказал: «Сбылись твои мечты!
Скажи, сынок, ты хочешь в город?
Учиться в школе хочешь ты?»...

Снова братья в юрте, Нухэ повертелся между ногами и убежал; слышно, отчаянно лает, опять гоняется за сусликом, опять огрызается — не поймал, суслик юркнул в норку. Мычат коровы, время доить. Жалобно кричат козлята. Тепло под бараньей шубой; Гомбо плотнее прижимается к Эрдэни. Уже пробивается в щели сарая предутренний рассвет. Братья заснули.

...Проснулись, вскочили на ноги, вышли из сарая. Сиял день, небо чистое, будто бури и дождя совсем и не было. Ни коров, ни лошадей в загоне нет. Неподалеку горит костер, на нем кипит вода в котелке. Залаяла собака.

— Хой, хой! — голос дедушки. Побежали к нему. Он у речки пасет коров. — Как спали, молодцы?

Гомбо и Эрдэни наперебой хвастались, как нашли заброшенный загон, укрыли стадо от бури и дождя. Дедушка их не слушал, курил трубку, пуская дым. Когда братья замолчали, хитрые щелки его глаз совсем закрылись, губы вытянулись, усы смешно подпрыгивали:

— Хвастунишки, слушать стыдно; разве вы могли найти загон? Серый тут бывал и зимой, и летом, он и привел...

Братья обиделись, от дедушки отвернулись. Эрдэни опять заговорил:

— Тарбаган в твой капкан попал... Там, у Красной горы... Надо его вытащить. Жирный тарбаган!..

— Пастбище хорошее, пусть коровы пасутся, лошади подкормятся. Пойдем-ка пить чай. Тарбаган, говоришь, попал? Видел. Вытащить не могли?..

Эрдэни торопился, рассказывал, как они старались, а вытащить не сумели. Тарбаган сильный, лапами бьет, не поддается. Очень сильный...

— Эх, охотнички, человек всегда должен быть сильнее зверя... Надо было взять его за задние лапы, вытащить и в мешок...

— А ты, дедушка, вытащил? — загорелись глаза у Эрдэни.

— Вытащил... кончик задней лапы... Отвертелся тарбаган, спрятался в норе.

Эрдэни и Гомбо жаль добычу, виновато смотрели они на дедушку. Пили чай. Ели пышные лепешки. Их напекла бабушка, засунула в мешочек, сшитый из бычьего пузыря, завернула в тряпку, оттого они горячие, будто только что с огня. Высушили на солнце седла, кошму, одежду. Немного отдохнули, погнали коров и быков домой. Дедушка напевал любимую песенку. К Эрдэни подъехал Гомбо:

— Ты говорил дедушке, как мы сломили злого быка, заставили идти куда надо?

— Не говорил и не буду... Смеяться станет: не вы быка сломили, а серый... Дедушка все знает...

К вечеру пригнали стадо. Встретила бабушка, заохала, заторопилась, глаза мокрые; дедушка строго оглядел ее:

— В нашей юрте родились два настоящих пастуха. Радуйся, ужин готов?

Гомбо обидел дедушку:

— Я не буду пастухом... Уеду в город...

— Уезжая, не забудь взять котел; баранина в него сама начнет падать жирными кусками...

В юрте тихо. Дедушка прикурил от печурки, стал совсем сердитый:

— Все уедем в город... Все будем кататься на машинах, есть сладкое замороженное молоко в красивых бумажках... Бросим юрту, бросим скот!..

Опять в юрте тихо. Все на дедушку смотрят, а он молчит. Гомбо тихонько осмелился обратиться:

— Наш учитель рассказывал, что до революции Монголия была пастушеская, а теперь стала...

Дедушка ему договорить не позволил:

— Ты спроси своего учителя: он каждый день ест мясо, пьет молоко, мажет на хлеб масло? Откуда это берется? Ишь какой, пастушеская Монголия!.. Без пастуха она умрет!..

Легли спать. Ни у кого не смыкались глаза. Растревожило сказанное дедушкой. Гомбо шептал в ухо Эрдэни:

— Все равно не хочу пастухом...

— Кем же будешь?

— На завод поступлю машины делать... А ты?

— В юрте останусь пастухом, как дедушка. Буду носиться по степи на лошади, научусь крепко держать в руках ургу, стану лучшим ургачи-арканщиком: любого дикого заарканю!

— Носись с ургой в руках, а я тебя обгоню на машине...

В темноте юрты блеснул красный огонек. Дедушка закурил трубку — и ему не спится...

— Что шепчетесь? Спать мешаете...

— Не приходит сон... Сказку бы послушать...

— О, спохватились! Где же вы были? Да, забыл, ночевали в заброшенном загоне... Без вас многое пошло по другому пути; неожиданное, как камень, свалилось со скалы; хан-повелитель озлобился на мальчика, который умнее всех на свете: испугался, такой умный может занять его трон. Собрал своих людей со всех юрт: велел волшебный курган срыть, на чистом месте построить большой загон для скота...

Эрдэни и Гомбо сорвались с постели, баранью шубу сбросили, зашумели:

— Волшебный курган срыт, а где же мальчик? Его убил хан?..

Поднялась бабушка, ругается:

— Зачем тревожить сердце ребят, пугаешь их на ночь глядя...

Дедушка покашливает, тихонько посмеивается:

— Их не испугаешь, смелые пастухи в нашей юрте!..

Эрдэни не отступал, допытывается:

— Волшебного кургана уже нет?

Дедушка, наверное, пошутил, сказав:

— Давно нет, однако, более ста лет...

Закашлялся, помолчал, добавил громко:

— Нет, не ста, а более тысячи лет... Накройтесь с головой шубой, скорее спите, завтра все узнаете...

В ЮРТЕ ГОСТИ

Степь всегда зовет, всегда дорога, как дорого человеку солнце, небо, вода. Цого и Дулма вышли из юрты ранним утром. Степь притаенно дышала, она еще не проснулась, лениво потягивалась под легким молочным покрывалом. Поднималось солнце, расцветало небо, разгорался день, рождались заботы. Цого оседлал гнедого жеребчика. Он едет осматривать новые пастбища; нельзя разбирать юрту, не зная, где она будет поставлена. Цого скрылся за холмом, Дулма доила коров.

Не успела она и трех коров подоить, Цого вернулся, и не один, с ним гости. Приехавшего на белом коне монгола в коричневом халате, в монгольской шапке Дулма знала, это Дагва, ветеринарный врач госхоза, второго, спрыгнувшего с вороного коня монгола, уже пожилого, в малиновом халате, в соломенной шляпе, с портфелем под мышкой видела впервые. Оставив лошадей у коновязи, Цого и гости вошли в юрту. Эрдэни и Гомбо выглянули из-под шубы, вновь спрятались. Цого подложил в печурку скрученный в пучки сухой дерес, долил котел водой.

— Садитесь вот сюда,— предложил хозяин,— тут светлее.

Дагва и приехавший с портфелем пододвинули легкий столик поближе к яркому пятну, падающему из верхнего просвета, в который просунута труба печурки. Баранья шуба зашевелилась, Дагва нагнулся, приподнял полу:

— Хорошо помогаете дедушке пасти скот,— усмехнулся он.

Эрдэни и Гомбо приподнялись, поздоровались с гостями и скоро были на ногах. На лицах у них радость, глаза — неугасимое любопытство. Дядя Дагва у очага — юрта полна новостями. Ветврач умел поговорить. В каждой юрте — желанный гость. Вошла Дулма, поздоровалась:

— Здравствуйте. Если у вас большие дела, лучше поговорить о них за чаем, а пока выпейте по чашечке парного молока.

Дулма быстро расставила чашки. Выпили, похвалили густое парное молоко. Приехавший с портфелем вынул из него бумаги, но увидел, что хозяйка заварила в котле чай. У кого спорилась работа, если он не выпил густого чая? Засунул бумаги обратно в портфель. Хозяйка подала чай в больших пиалах, поставила на середине столика блюдо с холодной бараниной, вокруг — тарелки с угощением: урюм — густые молочные пенки, арц — творог, буслаг — сухой сыр, бин — мучные лепешки.

Дагва вынул пачку папирос, раздал. Цого взял папиросу,

подержал в руках, положил обратно в пачку, закурил трубочку, взглянул на гостя:

— Слышал, ты в Улан-Баторе побывал, Дагва, как живут, что новенького?

— Новостей хватило бы на целый день, но дела, дела — речка в знойный день, пьешь и не напьешься... Попал я в столицу в удачное время. Два события вцепились в мою память, ничем не вырвешь — сорокалетие монгольской пионерии и встречи в Улан-Баторе героев-космонавтов Николаева и Терешковой.

Эрдэни и Гомбо подсели поближе, чтобы услышать все о космонавтах.

Дагва увлекся, недокуренную папиросу положил на край стола и забыл, халат распахнул — жарко:

— Всюду дети и цветы, цветы и дети, космонавты в середине, тоже осыпаны цветами, будто это букеты цветов собраны со всей Монголии, со всех ее долин, степей, лесов, гор. День жаркий, небо светится, над головой музыка, пение... По радио пели для детей песни, которые пел я, когда сам был пионером. На трибуне юные пионеры вместе с пожилыми мужчинами и женщинами монголами первого поколения пионеров, среди них, кажется, и я... Время, время — резвый скакун, натягиваешь поводья, а сдержать не можешь... Давно ли я бегал с красным галстуком на шее...

А дальше, послушайте... Араты ближнего худона привели маленького буланого жеребеночка, подвели его к Терешковой, он степной, пугливый, глупенький. Сердце мое обдало холодком; зачем, думаю, такое сделали: дрыгнет ножками, подскочит, вырвется, убежит. Она погладила его по гриве, он стоит смирно, только глаза округлил, мордочкой тычется в руку. Вокруг аплодисменты; фоторепортеры готовы на голову людям вскочить, чтобы сфотографировать незабываемое...

На обратном пути захотелось мне посетить школу, где я учился. Дорога неблизкая, но если у тебя вот тут,— он ударил себя в грудь,— горит, то длинной дороги нет. Поехал в школу Южно-Гобийского аймака. Школе исполнилось 25 лет. Вокруг все знакомое, а не узнаю... Выстроили новое здание, светлые классы, большая библиотека, хорошо оборудованы кабинеты математики, физики, химии. Стою в коридоре, дверь в класс приоткрыта, учительница около географической карты, за партами взрослые, потом узнал — курсы. Слышу голос учительницы:

Монголия по территории занимает пятое место среди стран Азии — после Китая, Индии, Ирана, Индонезии.

Жаль, урок прервал звонок. В школе работают кружки, таких при мне не бывало: радиотехники, машиностроения, фото, кино, танцев.

Эрдэни и Гомбо переглянулись: дедушка губы сжал, пальцами постукивает по столу, сердится. Когда Дугва усмехнулся: — Ученицы прямо-таки модницы: кофточки, юбочки, прически... — Цого так забарабанил пальцами, что Дагва, взглянув на него, умолк, а он брови свел, выпустил из-под усов струйку дыма, вместе с ним и обидные слова:

— Всякие, говоришь, кружки есть, а скот пасти не учат... Всех на-

кормит радио, фото, кино, а молочко дадут танцы?.. Халаты забросили, нарядились в юбочки, острые туфельки нацепили...

Дагва поближе подсел к дедушке:

— Ошибаешься, Цого, во всех школах учат, как лучше пасти скот, принимать молодняк, настригать шерсть, объезжать лошадей и верблюдов.

— Хорошие слова, только наш Гомбо их в школе не слышал... Баранину, масло, молоко любит, а пастухом быть не желает. Юрта ему не нужна, будет жить в белой комнате с большими стеклянными окнами... Хочу спросить тебя, Дагва, ты у нас в начальниках ходишь, кто же растить, умножать скот станет?.. Не опустеют ли степи Монголии?..

— Если все монголы переселятся в белые комнаты, разве это плохо? Все культурные люди живут в домах...

— Значит, юрта — дом наших отцов и дедов — уже не нужна? Выбросим?..

— Не выбросим. Пусть все живут в светлых комнатах; ребятишки ходят в детские сады, школы, клубы, а чабаны в сезон пастьбы кочуют со скотом вместе с юртами.

— Сказка! — зло плюнул Цого. — Сказка!.. Кто же согласится кочевать? Старики? Молодежь — в город! Ее туда клонит, как ветер молодую траву... Не удержишь!..

Вмешался монгол в малиновом халате, щелкнул замочком портфеля:

— План большой, скот надо сдавать, молоко, шерсть... Где будем брать?

— Заводы, фабрики, шахты построили, еще строим и строим, рабочих где будем брать? — горячился Дагва.

— Совсем степь оголим! — качал головой Цого.

— Меняется жизнь и люди меняются,— вздохнула Дулма.

Дагва подхватил ее слова:

— И не только жизнь и люди, в степь пришла машина. Какая сила наши машинно-сенокосные станции! Цого, ты передовик, знаешь, что на пастбищах круглый год скот не прокормишь. Заготовляем корма, мало заготовляем, плохо...

— Может, ты и в Гоби сумеешь косить сено? — прижимал Цого Дагву.

— И в Гоби машины нужны. Разве мало там у чабанов мотоциклов?

Цого не дал договорить, стал над Дагвой зло подшучивать:

— Мотоцикл — хорошая приманка, но я своего гнедка на него не променяю! Бегите на машинах в город, бегите!..

Дагва приглушил гнев Цого:

— Молодые — наша опора, на них страна стоит. Поделим их разумно: половину в пастухи, половину в город. Вот у тебя в юрте: Эрдэни — в город, Гомбо в степь...

— Нет, я в город, Эрдэни в степь. Он сам хочет...

И хотя Гомбо сказал негромко, все слышали.

— Не хочу! — крикнул Эрдэни. — Я тоже в город!

— Дагва, таков плод твоих слов... По всем юртам ездишь, разбрасы-

ваешь худые слова, что же вырастет? Горькая трава?.. — упрекнул Цого.

Теперь сердится Дагва:

— Давайте все останемся в степях, а города, заводы, фабрики, шахты пусть чахнут. Какая же это страна?

Цого задумался. Вспомнил, был на курсах животноводов в аймачном центре, знатные люди съехались и так же спорили друг с другом и спрашивали: что же будет? Выходит, зачем зря голову давить: она не скажет больше того, сколько в ней заложено ума. Ладно ли, гости еще не покушали, а начинают сердиться? Он обрадовался, когда увидел, как Дулма настойчиво стала угощать гостей; верил — жирное мясо, наваристый чай, сладкие пенки отодвинут разговор, от которого мало толку. Так и вышло. Гости смахнули со лба капли пота, вытерли жирные губы, вложили свои ножи в ножны. Дулма убрала посуду, груду костей. На чистом столике вырос ворох бумаг. Гости в юрте Цого по важному случаю — на месте осмотрят скот, подлежащий сдаче по государственному плану заготовок. К удивлению Эрдэни и Гомбо, гость в малиновом халате — счетовод госхоза — вынул из портфеля крошечные счеты с красными костяшками. Недолго щелкал на них, что-то записывал, поднялся, и все вышли из юрты. Сели на лошадей. Цого отослал Эрдэни и Гомбо на ближние пастбища пасти телят, сам поехал с гостями за перевал, на дальние выгоны. Юрта опустела, лишь у ее дверцы лениво развалился Нухэ.

Солнце стояло высоко, пора гнать скот на водопой.

...На берегу речки, на горячем песке лежали на спине Гомбо и Эрдэни. В кустах пересвистывались пташки; телята лезли в воду, отбиваясь от мошки, отталкивая друг друга, жадно пили.

— Эрдэни! — окликнул брата Гомбо. — Ты знаешь, что я нынче в школу не пойду?

Эрдэни вскочил:

— Почему не пойдешь, остаешься в юрте и на зиму?

— Нужна мне юрта! Пойду работать на завод или в шахту...

— Давай вместе!..

— Тебя не возьмут.

— Хе,— хихикнул Эрдэни,— а тебя возьмут? Спрошу Дагву, он все знает...

— Не спрашивай, услышит дедушка, никуда не пустит.

Цого и гости с пастбищ вернулись вечером. Счетовод госхоза, едва переступил порог юрты, присел к столику, защелкал на своих крошечных счетах. Дагва внимательно следил за цифрами. Дедушка молча сидел в стороне. Счетовод разогнулся, передал Дагве листок, сплошь исписанный цифрами. Подсчет обрадовал — план будет перевыполнен не менее чем на десять процентов. Упитанность скота отличная, приплод большой.

Ужинать гости отказались, уговоры и просьбы Цого и Дулмы не помогли; гости торопились, надо им засветло доехать до юрты Бодо. У коновязи Эрдэни вертелся около Дагвы, забегая то с одной, то с другой стороны. Выдалась удачная минута, Цого разговаривал со счетоводом, Эрдэни — к Дагве:

— На завод берут со скольки лет?
— С шестнадцати...
— А на шахту?
Дагва погрозил пальцем.
— Ишь ты, куда копыта направляешь... Не окончивших школу нигде не возьмут... Это держи в голове, — и вскочил на лошадь.
Уехали гости, увезли с собой достойные цифры, прославляющие юрту Цого, прихватили и житейский покой этой юрты.
Цого провожал гостей до Зеленой горы. Вернулся, когда степь потемнела, луна стояла, как одинокий пастух среди звездного стада. Войдя в юрту, Цого не посмотрел ни на Гомбо, ни на Эрдэни, будто их в юрте нет, подошел к Дулме:
— Дагва меня напугал, увидел на песке следы стаи волков. Я не рассмотрел, темно... Беда, если разбойники начнут на нас выполнять план; овец могут вырезать начисто...
Цого и чай пить не стал. Вскинул ружье на плечо и вышел из юрты. Ходил недолго.
— Тихо... Может, Дагва ошибся?.. Хотя могут в полночь или под утро нагрянуть...
Только сейчас дедушка заметил Гомбо и Эрдэни.
— Почему не ложитесь спать? Дагва ваши головы растревожил? Умный, беда какой умный, но смешной мужик. У него просто: дели пополам... Одного в степь, другого в город... Ко мне тоже сон не идет... Посидим, посторожим. О, давайте, как Дагва: пополам — до полуночи не сплю я и Гомбо, после полуночи — Дулма и Эрдэни...
— Если спать захочется? — зевая спросил Гомбо.
— Не уснем, буду сказку говорить, а ты слушать, ночь быстро убежит, как перепуганный заяц.
— Я тоже хочу слушать сказку, спать не лягу, — обиделся Эрдэни.
— Ложись, Дулма, спи, нас трое мужчин, обойдемся и без тебя...
— Лягу, устала я, но одно ухо насторожу, пусть слушает...
Залаяли собаки, неистово залился Нухэ. Цого схватил ружье, выбежал из юрты, за ним Гомбо и Эрдэни. Ночь темная, ничего не видно, а дедушка ловко обходит камни, заросли кустов, торопится к загону, где овцы и козлята. Собаки там и лают. Лай нарастает; вдруг послышался жалобный визг, видимо, в зубы волка попала одна из молоденьких, но задорных собак.
Дедушка выругался:
— Так тебе и надо! Куда лезешь?! — вскинул ружье и выстрелил. Огонь из ствола мелькнул красной молнией. Раздался второй выстрел, мелькнула такая же молния. Выстрелы раскололи ночную тишину, эхо прокатилось по степи и заглохло. Собаки притаились, заблеяли овцы, слышны топот ног и возня. Дедушка всполошился:
— Сорвались с мест, не выдавили бы ворота загона, убегут в степь, глупое отродье!.. — поспешил к загону, за ним Гомбо и Эрдэни.
Овцы сбились в кучу, давили на стенки загона и ворота. Вот-вот про-

рвутся. Почуяв людей, после окриков дедушки они присмирели, стали ложиться. Дедушка устало дышал, отдал ружье Гомбо, вытащил трубку, закурил. Когда все овцы улеглись, притихли, зашагал к юрте.

Эрдэни прошептал:

— Дедушка, ты ранил волка, я видел, он подпрыгнул, упал, а потом уполз в кусты...

— Не ври! Ночью зверя не убьешь, он видит, а ты — нет.

Остановились, вслушиваясь в ночные шорохи.

— Пойдемте в юрту, собаки не лают, значит, далеко разбойники убежали...

Зашли в юрту, в печурке мелькает тусклый огонек, дедушка пощупал котел — горячий — и шутливо сказал:

— После такой удачной охоты добытчики чай пьют. И мы тоже...

Дедушка очень хитрый, зря ничего не скажет и не сделает; он знал, что нельзя еще ложиться спать, волки могут вернуться, потому и ружье не повесил над лежанкой, а поставил рядом с собой.

Наваристый чай слаще жирных пенок; выпили по чашке, налили еще. Дедушка пил, шумно чмокая губами; отставил пустую чашку, руку за пазуху, вынул трубочку, набил туго табаком, прикурил от уголька печурки. Поплыло сизое облачко — хорошая примета. Приготовились слушать.

— «Собрал хан-повелитель своих воинов, слуг, пастухов, палачей, ногами топает, его злые слова — молнии из черной тучи:

— Лентяи! Почему курган стоит?! Уберите его из моих степей! На месте кургана сделайте большой загон для овец!

Люди хана копали тридцать дней и тридцать ночей. Курган убрали — чистая равнина. Хан рад, раздобрился:

— Зарежьте сто быков, тысячу баранов, поставьте сто бочек с кумысом. Ешьте, пейте, веселитесь!

Исполнили волю хана. Ели и пили целую неделю.

В один пасмурный день прибегает к хану его первый слуга:

— Пресветлый повелитель, курган стоит и поднялся еще выше...

— Убрать, срыть, выровнять! Выполните — озолочу, не выполните, головы отхвачу!

Опять курган срыли, землю выровняли. Опять пили, ели, плясали, веселились.

Прошло три дня. Прибегает к хану перепуганный его первый слуга:

— Пресветлый повелитель, курган еще выше вырос!..

...Так рыли, старались много раз; курган же вновь рождался, вырастал, золотая вершина его упиралась в небо. Хановы слуги обессилели, курган убрать не смогли. Начисто сроют, стада быков, верблюдов, лошадей прогонят, чтобы вытоптали они землю копытами. Загорается новый день — курган опять красуется. Насыпал его степной народ, хан голову руками зажал — против народа не пойдешь... Заболел, скрючился, скрипит, как сухой камыш на ветру:

— Ленивые сурки! Где ваша работа? Всем головы срублю!.. — сам же подняться с трона не может — окостенели руки и ноги...».

— А мальчик, который умнее всех на свете? Где он? — в один голос вскрикнули Гомбо и Эрдэни.

Дедушка лукаво глаза скосил на часы-ходики:

— Мальчик? На вершине кургана...

«Прибежали к волшебному кургану палачи — Железные ножи и воины хана — Острые пики. Поднимутся к вершине кургана, ветер сбросит их обратно вниз, к подножью. Встает солнце, они карабкаются к вершине, заходит солнце — валяются у подножья. Тогда начали они снизу метать ножи и пики в мальчика. Долетают ножи и пики до вершины, ветер поворачивает их обратно, и разят они самих же палачей и воинов насмерть. Убили всех, лишь один раненый убежал, скрылся в горах...».

Поднял дедушка голову. В дымник пробивался молочно-серый свет.

— О, уже утро!.. Ложитесь, ребята, спать. Дулма, вставай, пойдем, пора скот выгонять на пастбище.

А ее и нет. Открываются дверцы, входит она с полным ведром молока, улыбается:

— Ну, выспались? Я уже коров подоила, будем пить парное...

Дедушка расширил щелки глаз, такое бывало редко.

— Мы что же, уснули? Не слышали, как Дулма из юрты ушла?

Долго смеялись. Спать не ложились, умылись, сели за столик завтракать.

ЦЭЦЭГ

И сияющий день может начаться с неудач. Цого, выбивая трубку, сильно ударил ее о камень, она раскололась. Жаль, привык к ней, удобная, однако, служила долго; все стареет, ей давно пора расколоться. Горевать и охать можно, но оханье табаком не набьешь, в рот не возьмешь. Собрался Цого ехать в Узкую падь, только там у Белого ключа он отыщет подходящий корень тальника для новой трубки. Узнала Дулма, стала упрекать Цого:

— Оставь возню с трубкой, время ли? Кури папиросы, вон на полке лежит пачка. Поезжай к Бодо, к Ламжаву; надо охотников собирать, кончать с волками. Далеко ли до несчастья.

Вспомнилась холодная весна того злополучного года, когда нежданно выпал снег, побелела степь, стая волков чуть не наполовину вырезала стадо верблюжат. Засияло солнце, зазеленела степь, а горе тяжелой тучей висело над несчастной юртой. Верблюдиц нельзя было выгнать на пастбище, стояли они неподвижно у места гибели своих детей, по-матерински плакали. Только каменный человек мог забыть их глаза — большие, круглые, испуганно-грустные, переполненные слезами. Четыре верблюдицы так и не сдвинулись с кровавых пятен — места волчьей расправы, тут и скончались. Остальные выхудали, едва на ногах стояли — кости да кожа, на боках болтаются жалкие клочки шерсти. Куда бы их не угнали, едва пощиплют кустарники, бегут обратно и стоят поникшие у страшного места, не в силах забыть своих верблюжат.

Цого слушал Дулму, озабоченно качал головой — верные слова; волки страшнее бури.

— Ладно. В Узкую долину, однако, далеко, найду корешок поближе, есть у меня на примете. Съезжу в юрты к соседям; с волками встречи плохи... Откладывать нельзя.

...Вернулся Цого быстро, едет и песенку напевает, остановился у юрты, увидел Дулму, не слезая с коня, потрясает над головой какой-то черной коряжиной, хвастается:

— Вот погляди, какая редкая находка, и совсем близко от нашей юрты.

Дулма махнула рукой:

— Ты так рад, будто у тебя каждая овца принесла по два ягненка... У соседей был?

— Успею, день длинный, — Цого оставил заседланного коня у привязи и поспешил в юрту. Видит Дулма, вышел он из юрты с кожаной сумкой, в ней инструменты. Сел мастерить трубку.

— Нашел время, теперь и к закату солнца тебя не выгонишь к соседям... Однако, съезжу сама или пошлю Гомбо...

Цого прищурил лукавые щелки:

— Еду, еду!..

Сел на лошадь и ускакал. Когда он уже скрылся за увалом, Дулма развела руками: «Сумку-то взял с собой! Вот старый хитрец; отъедет немножко, сядет под куст и начнет выстругивать проклятую трубку». Дулма пожалела, что не поехала сама.

...Солнце уже садилось за потемневшие горы. Цого вернулся, в зубах новенькая трубочка. Подъехал и этой новенькой трубочкой размахивает перед глазами Дулмы. Та от гнева покраснела, как кумачовый платок на ее голове.

— Трубку твою из зубов вырву, брошу в печку! У соседей не был?..

— Без нас обошлись; госхоз собрал три группы охотников. Не бойся, волкам конец! Вчера Бодо матерого волка пристрелил у самого телячьего загона. В юрте Бодо гостит Цэцэг...

— Ну, наговорил, голова моя раздулась... Какая Цэцэг?

— Да ты что? Дочь его! Учится с Гомбо и Эрдэни в одной школе. Сегодня уже поздно было; завтра приедет к нам. Есть у нее какие-то школьные новости...

Дулма обрадовалась, любила встречаться с людьми, заговорила в ней душа гостеприимной хозяйки.

— О, если гостья в юрте, надо взбить сливки, подсушить творог, есть у меня топленое масло с изюмом, испеку мучные лепешки...

Вернулись с пастбища Гомбо и Эрдэни, узнали о приезде Цэцэг. Эрдэни рад, Гомбо недоволен.

— Что ей надо, зачем она?

После ужина Дулма положила на лежанку два новых халата.

— Завтра их наденете.

Гомбо насмешливо надул губы:

— Что же завтра праздник?

— Гостья приедет, хорошо ли встречать ее в будничной одежде?

— Поедем пасти коров в новеньких халатах, а она пусть любуется,— засмеялся Гомбо.

Дедушка строго поглядел на него:

— Еду к Гомбо, он мне поможет, так и сказала...

— Я? Чем же помогу?

— Ничего не говорила. Бодо просил, если понадобится, пусть поживет у вас неделю и больше.

Глаза Гомбо и Эрдэни встретились, округлились, погасли. Попробуй догадайся, если сам дедушка ничего не знает...

В юрте тихо, темно, ночь...

Под бараньей шубой не умолкает шепот:

— Ты хочешь, чтобы приехала?

— Она же к тебе едет, а не ко мне...

— Почему ко мне? Дедушка опять хитрит. Скучно ей одной в юрте вот и надумала... Пусть дедушка с бабушкой пасут, а мы в нарядных халатах будем Цэцэг забавлять. Ловкая девчонка...

Оба приглушенно засмеялись, позабыв, что давно ночь и надо спать. Дедушка глухо закашлял, поднялся с лежанки. Жарко — приоткрыл дверь юрты, сел на порог, курит; вы же знаете, он сильно хитрый. Сидел-сидел, курил-курил, вдруг заговорил будто сам с собой:

— Вы, разбойники, почему не спите?

Эрдэни и Гомбо закрылись плотнее полою шубы. Оказалось, дедушка сказал это Нухэ и его длиннохвостой мамаше. Они бродили возле юрты, что-то вынюхивали. Зря собаки ночью не бродят. Если бы шарились мыши или суслики, собаки бы залаяли. Дедушка навострил уши, всматривается в темноту. Щелки глаз расширил, видит, движется небольшое, темное, горбатое, собаки не лают, а ласкаются. Да это верблюжонок. Он, видно, протиснулся между жердей загона, учуял мать и пошел ее искать; она в другом загоне. Дедушка затолкнул верблюжонка в юрту.

— Что спите? Встречайте важного гостя...

Все поднялись. Дулма засветила огонь. Верблюжонку дали молока, сунули в рот кусок лепешки, круто посоленой. С аппетитом съел, ждет еще. Дедушка увел верблюжонка обратно в загон, подправил жерди, чтобы не расходились. Вернулся. Дулма стояла у порога.

— Добрая примета: письмо получим от Доржи или еще кто-нибудь приедет к нам.

Дедушка вздохнул:

— Примет у тебя всегда много, а толку?.. Будем спать...

Огонек погас, в юрте тихо. Над нею стояла луна, поглядывая желтым глазом на спящую степь.

Солнце высоко. Обед. Собрались в юрте. Дулма накрыла на стол. Залаяли собаки и быстро смолкли.

— Кого-то встречают... — поднялся дедушка, открыл дверцы, и в юрте услышали девичий голос. Заторопились, вышли на полянку. Из-за крутого холма, который прозвала Дулма Дедушкиной шапкой, вынырнула гнедая лошадь, в седле девушка в светло-зеленом халате, белой шапке, что-то везет на коленях. Едет и напевает, чем ближе, тем звонче ее песенка.

— Слышишь, ее голос, Цэцэг... — засуетился Эрдэни, подталкивая брата в спину.

Отчетливо цокали копыта; иноходец красиво и плавно шел к юрте.

— Возьмите у гостьи лошадь, расседлайте, пустите пастись, — распорядился дедушка.

Цэцэг легко спрыгнула с лошади, подошла к бабушке и дедушке, обняла их, подала руку Эрдэни и Гомбо. Шелковый халат и новые сапожки блестели на солнце. Цэцэг подала бабушке сумку, которую везла на коленях:

— Возьмите, это вам гостинцы от мамы.

Братья повели ее лошадь, залюбовались седлом: оно изукрашено серебряными насечками и бляшками, расписано синей, оранжевой и желтой краской. Вошла Цэцэг в юрту:

— Как у вас хорошо! Где же мне сесть? Лучше вот тут, — и она опустилась на коврик возле бабушки, сложив ноги калачиком, как бы напоказ выставила свои сапожки.

За обедом разговор не складывался, хотя Цэцэг не умолкала. Хвалила бабушкины угощенья, ела, причмокивая, теплое масло с изюмом и мучные лепешки. Рассказывала, как она ехала, зря повернула за ручей направо, оказывается, есть ближний путь. В степи очень много дзерен — диких коз. Одно стадо, очень большое, дважды пересекало ее дорогу. Выпили по чашке горячего, пышно взбитого молока, попробовали гостинцев, посланных матерью Цэцэг: хушуры — пирожки с мелкорубленной бараниной, жареные в кипящем масле, печенье из тугонамешанного теста и запеченного в него ташлоя — кисло-сладких гобийских ягод. Из Гоби эту сушеную ягоду недавно прислали.

Пообедали. Цэцэг стала помогать бабушке убирать со стола. Дедушка из юрты не уходил, намеревался о чем-то спросить Цэцэг, она и сама догадалась.

— Приехала я, почтенный дедушка, не в гости... У меня важное дело...

— Уши наши открыты, слушаем, — откликнулся Цого.

— Немного стыдно, но скажу... Плохо у меня с математикой. Учительница дала на лето задание, велела позаниматься, решить двадцать задач. Ни одну не могу, задачи трудные, не решаются... Гомбо, ты у нас в классе лучший математик, поможешь?

Гомбо покраснел, Эрдэни толкал его в бок: давай, давай...

— Смогу ли? Ты говоришь все задачи трудные, не решаются...

— Да, для меня трудные, а ты, наверное, запросто решишь...

Дедушка удивился:

— Зачем голову засорять? Если ноша не по силам, не подставляй спину, переломится... Кем же ты думаешь быть, Цэцэг?

— Уже давно надумала — буду артисткой...

— Слышишь, Дулма, она будет артисткой, — наклонился Цого к Цэцэг, — а зачем артистке математика?

— Что вы, дедушка, без математики я пропала, не окончу школу, не примут в театральное училище.

Дедушка торопливо перебирал пальцами бородку, чем-то недоволен.

— Дагва прав, дели юрты пополам: стариков в пастухи, молодых — в артисты, машинисты, шофера, музыканты... Дорогая Цэцэг, чтобы хорошо петь, неплохо бы горлышко смазывать маслом, горячим молочком, битыми сливками, а где брать?

— Что вы, дедушка, в магазине, там все есть.

Дедушка расхохотался:

— Дулма, слышишь? Мясо, молоко масло, хлеб можно брать в магазине... Мы-то, старые сурки, думали, что все это дает степь, пастухи, юрты...

— Как тебе не надоело твердить одно и то же? Уши не хотят слушать, как свист суслика перед дождем! — рассердилась бабушка.

Цэцэг встрепенулась, глаза поблескивают, тонкие брови, будто тушью вычерченные, слегка вздрагивают. Красивые глаза; Гомбо и Эрдэни засмотрелись, а глаза ее улыбаются:

— Вы, милый дедушка, как все дедушки думаете: самое дорогое на свете — скот да юрта... Разве можно жить без кино, театра, пения, музыки, танцев? Все равно буду артисткой — петь, играть на морен-хуре...

Она плавно прошлась по мягкой кошме, изящно раскинула руки и запела ласковым голосом. Дедушка любил песни и сам всегда напевал. Надо бы ехать на пастбище к скоту, из юрты не вышел, сидел на коврике, слушал. Цэцэг его обрадовала, спела народную песню «Соловый конек». Закончила, остановилась, что-то вспоминая. Вынула из сумки газету:

— Забыла, дедушка, вот свежая «Унэн»[1], почитайте.

Она развернула газету, ткнула пальцем:

— Вот это обязательно не пропустите...

Цого достал очки, начал читать вслух:

— «До 13 лет Б. Дамдинсурэн был неграмотным. С родителями приехал в Улан-Батор, стал помощником шофера. Страсть его — машины. Грамоте выучился; много ездил, много видел. Машина увлекала, но пересилило другое увлечение: он брал в руки хучир и пел. Люди слушали, хвалили. Услышал его игру и пение знаменитый музыкант и обрадовался:

— О, это настоящий талант!

И Б. Дамдинсурэн стал артистом театра. Наступила пора упорного труда и учебы. Теперь он прославленный композитор Монголии, гордость и слава страны. Его песни поет вся Монголия; они, как птицы, облетают все уголки степей и гор и находят живой отклик в сердце каждого человека. Он автор многих опер; любимая из них «Среди печальных гор», она душа нашего народа. Как радостно, это музыкальное творение прошло в театре уже две тысячи раз! Композитор испытывает высокое счастье, ког-

---

[1] «Правда» **(монг.)**.

да слышит свои мелодии всюду; опера — произведение крупное, а весь народ знает ее...».

Дедушка отложил газету, снял очки, посмотрел на Цэцэг, она придвинулась к нему:

— Прочитали, дедушка? Для меня пример такие люди, светятся как звезда на небе... Буду певицей... Артисткой!

Дедушка ладонью погладил ее пышные косы:

— После совещания животноводов-передовиков в Улан-Баторе смотрели мы оперу «Среди печальных гор». Давненько это было, а помню, будто вчера слушал... — и он вполголоса начал напевать всеми любимую мелодию из оперы. Цэцэг не вытерпела, тут же прервала его:

— Не так, дедушка, вы фальшивите, — и спела арию главной героини, обманутой ханом.

Хотя Цэцэг уже не пела, занялась своими косами, в юрте еще слышался ее голос, и каждый счастливо шагал по степи, украшенной зеленью и цветами, обласканной весенним солнцем.

Первым, шумно кряхтя, поднялся дедушка. Взял газету, спрятал ее за пазуху.

— Немножко засиделись в юрте. С тобой, Цэцэг, и о делах можно позабыть, но человек без песни — птица бескрылая... Пой! Все-таки поедем к тем, кто нас кормит. А как с математикой? Заниматься будешь с Гомбо?

— Нет. Успею. Поеду с вами. Люблю степь, и скот люблю. Вы знаете, дедушка, я ведь немного дурочка, везде пою; на пастбище барашки, козочки слушают, глазенки вылупив...

Дедушка опалил ее жестким огоньком своих глаз; морщины на лбу у него подпрыгнули и упали:

— Все вы много говорите, что очень любите и степь и скот. Лучше меньше говорить, а больше делать. Песни хороши, но от них скот не жиреет...

Все рассмеялись, вышли из юрты. Дедушка вынул трубочку, закурить не успел, Цэцэг подскочила к нему легким козленком, трубочку выхватила, любуется:

— Какая милая трубочка, новенькая, беленькая, уж очень беленькая, у моего дяди трубка с красивыми коричневыми крапинками.

Дедушка получил от Цэцэг в рот трубку, закурил, веселый сел на лошадь и ускакал, с ним Эрдэни. Гомбо пошел за седлом для лошади Цэцэг. Она его окликнула:

— Возьми у меня в сумке задачник, на досуге где-нибудь под кустом в него заглянем.

Гомбо сморщился, пошел нехотя. Принес седло.

— Где же задачник?

— Не взял, сначала один разберусь, может, я все забыл, задач не решу...

— Вдвоем лучше вспомним, — и побежала к юрте.

Дверцы распахнулись, навстречу Дулма, в руках у нее доска, на ней

колобки из творога, несет подсушивать. Цэцэг помогла поднять доску на под крышу юрты, под палящее солнце.

— Я уже похозяйничала, могу подменить Гомбо, поехать на ближние выгоны к овечкам, а вы позанимайтесь, — посоветовала Дулма.

Цэцэг и слышать не хотела, скрылась в юрте. Вернулась с задачником в руках. Поспешила к своей лошади, ловко вскочила в седло и помчалась:

— Гомбо, догоняй!

Он вставил ногу в стремя, подскочил, чтобы сесть на лошадь, седло скатилось, ослабли подпруги. Цэцэг скрылась за холмом. Объехав загоны и заросли кустарника, Гомбо поднялся на пригорок, увидел на желтом выступе светло-зеленый халат и белую шапку Цэцэг. Она, привстав на стремена и прикрыв лицо ладонью от лучей солнца, смотрела вдаль. Подъехал Гомбо.

— Что увидела?

— Удобное место выбрал твой дедушка. Гляди, вокруг целое море зелени... Мой отец ухитрился поставить юрту в низине среди серых камней и красного песка.

— Поедем скорее, увидишь, какие тут рощи и озеро...

Они торопили лошадей, скача по склону холма, пересекли узкую долину, поросшую высокой травой. Слева возвышалась гора, справа потянулись рощицы и перелески. Неожиданно Цэцэг повернула коня и поскакала совсем в другую сторону. Гомбо за нею. Так мчались они долго. Миновали много холмов и увалов. Перед ними желтая песчаная полоса, за ней — синие горы, зубцы их врезались в небо. Гомбо разгорячил коня, обогнал Цэцэг:

— Ты куда?

— Испугался? Давай поднимемся вон на ту сопку!

— До нее далеко, и к ночи не доедешь...

— Совсем испугался... — и повернула коня; они поскакали обратно. Кони вспотели, тяжело дышали; дали им передохнуть, поехали шагом. В перелеске спрыгнули с коней, пошли пешком. Цэцэг сорвала большой синий цветок, приколола его на грудь. Вновь сели на лошадей. Перевалили через крутую сопку, увидели стадо коров, а дальше табун лошадей; они разбрелись по широкому склону. Их пасли дедушка и Эрдэни.

— Поедем к ним, — заторопилась Цэцэг, — поможем подогнать скот.

Дедушка доволен: вместе они быстро собрали коров, взялись за лошадей, и хотя с ними пришлось повозиться, особенно непокорными оказались два скакуна, справились и с табуном. Собрались у небольшого родника, он бил из-под гранитной плиты, розовой с зелеными разводами. Размыв себе желтую дорожку в песке, бежал узкой змейкой, теряясь в траве и мелкой россыпи светящихся на солнце камней.

Дедушка уставился в небо.

— Сколько же времени? Часа четыре?

Цэцэг взглянула на свои ручные часы:

— Уже пять...

— Хорошо бы закусить... Эрдэни, принеси-ка бабушкин мешочек, он

привязан к моему седлу, — дедушка присел на гладкий валун. Из-под полы халата Цэцэг выпал задачник.

— Ах, Цэцэг, да ты с книгой? Не задерживайтесь, идите вон под тень тех кустов.

Гомбо насупился, а Цэцэг спрятала задачник на груди под халатом. Эрдэни, смеясь, отвернулся. Лукавые глазки Цэцэг заискрились:

— Милый дедушка, кругом такая красота и пахнет из мешочка вкусным, а вы заставляете заниматься... Хорошо ли это?

— Тогда дайте мне задачник, я начну за вас заниматься, а вы смотрите за скотом, — подшучивал Цого.

Цэцэг и тут нашла, что ответить:

— Главное мы с Гомбо уже сделали, на сегодня хватит: выбрали место для занятий...

Дедушка не выразил удивления, одобрил сказанное, но с такой ехидной усмешкой, что и Гомбо и Цэцэг опустили глаза, будто считали камешки под ногами...

ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ

Минует день за днем, и у каждого свое утро, свой вечер... Неожиданное всегда подстерегает людей, как лисица суслика. Из-под бараньей шубы выглядывал Эрдэни. Где же Гомбо? Цого и Дулма улыбчиво переглядывались, дедушка даже песенку напевал. — Гомбо раньше всех у стада.

Попили чай, распахнулись дверцы юрты, пахнуло прохладою утра, свежестью трав. Расправь грудь, дыши... У стада Гомбо не было. Цого вернулся в юрту, посмотрел в угол, где лежали седла. Седла Гомбо не брал. Куда может уйти пеший? Дедушка полон забот и песенку не поет, только дым пускает непрерывной струей, не вынимая трубки изо рта. Эрдэни и Цэцэг прячут глаза. Она еще рано утром заглянула в свою сумку: нет ни учебника, ни задачника, губы сложила в тонкую усмешку: «Мой учитель готовится к первому уроку».

...У ручья, разложив на каменной плите тетрадь, сидел Гомбо. Ни первой, ни второй задачи решить не мог. Тер лоб, вихрил волосы. Стал читать учебник. Все ему мешало думать: громко булькал и журчал ручей; чуть не у самых ног выскочила мышь-песчанка; суслик так пронзительно свистнул, что у Гомбо из рук выпал учебник. А солнце? Оно рассыпало повсюду разноцветные звезды: такое множество — на камнях, на траве, даже на руках Гомбо. Найдет ли кто-нибудь в себе силы решать задачи среди этих звездных огней? Гомбо поднялся и зашагал по траве. Смешно. Он смахивал с рукава халата россыпи звезд, а они горели еще ярче. Пересилил себя, вновь сел, упрямо глядя в задачник. Одну задачу осилил. Поддались вторая и третья. Гомбо радовался, стучал пальцами по лбу, приговаривая: «Котелок кипит, еда вкусная варится...». Не заметил, как каменную плиту, его временный стол, пересекла тень. Кто-то положил ему руку на плечо. Оглянулся — Цэцэг.

— Завтрак тебе послала бабушка. Горячую лепешку с маслом и творог.

— А кто ее просил, — обидчиво скривил рот Гомбо.

— Я просила... Мы-то спали, а ты работал, — засмеялась Цэцэг. — Решил? Можно переписывать?

Гомбо нахмурился: «Хитрая девчонка... Ей решай, она перепишет». Чтобы уязвить Цэцэг, Гомбо бросил задачник на траву:

— Возьми, садись, решай; я покажу, как надо, а готовенькое лапкой может переписать и тарбаган... — Гомбо хмыкнул, довольный своей шуткой.

Цэцэг не обиделась.

— Какой ты строгий, а я не тарбаган. Знаешь, давай сначала покушаем...

Бабушка знала, горячая лепешка со сладкими пенками любимая еда Гомбо, и хотя он строго говорил о задачах и надо было заставить Цэцэг их решать, запах вкусного оказался сильнее.

Они съели лепешку и творог. Цэцэг неохотно взяла карандаш, открыла тетрадь. Решить задачу не смогла. Гомбо начал учить, говорил долго, Цэцэг стало скучно. Ничего не поняла. Из кустов тальника выпорхнула нарядная птичка, села на ветку.

— Ой, птичка! — откинула тетрадь Цэцэг. Гомбо схватил камешек, бросил, спугнул птичку. — Ты сердитый...

Решали задачу вместе, потом потрудились еще над двумя. Одну Цэцэг решила сама. От радости прыгала, била в ладоши, кричала на всю степь:

— Хватит, хватит! Остальные потом, потом, ну их, такие скучные!

Гомбо своей ученицей недоволен, но подчинился, и они пошли. Цэцэг набрала букетик цветов, схватила за руку Гомбо, остановилась перед ним:

— Хочешь, я тебе спою песенку про степного жаворонка?

— Не хочу.

— Ну, про верблюжонка и его маму?

— Спой.

Цэцэг залилась птичкой, далеко над степными холмами плыл ее голос. Гомбо вначале и слушать не хотел, глазами, полными безразличия, глядел в синюю даль, потом заслушался. Когда верблюжонок плакал, тыкая мордочкой в застывшее вымя своей мертвой матери-верблюжихи, у Гомбо расширились глаза, он стоял неподвижно, боясь пошевелиться: можно спугнуть птичку, голос ее оборвется... «Хорошо поет, наверное, будет артисткой».

Подошли к юрте. Дулма мыла посуду.

— Пришли! Большие успехи?

Цэцэг принялась помогать бабушке.

— Четыре задачи решила, — расхвасталась она.

— Ого, если каждый вечер по четыре, за неделю закончите...

— Мы сейчас поедем с Гомбо, у нас есть заветное местечко, там решим все задачи.

Гомбо молчал, кажется, и не слушал. Дулма прикрыла ладонью глаза, оглядела небо.

— Собирайтесь хорошенько, возьмите еды, кошмяные подстилки, оденьтесь потеплее, далеко не ездите. Посмотрите, вокруг солнца два молочных кольца, темнеет гнилой угол неба...

Цэцэг голову вскинула, косы разметались.

— С Гомбо не страшно! — и залилась смехом.

...Кони бежали рядом, Гомбо и Цэцэг ехали молча. Поднялись на крутой увал, Гомбо резко повернул коня и придержал его.

— Куда ты?

— На пастбище; хорошо ли разъезжать без дела, как на празднике?

— А решать задачи не дело? — поджала губки Цэцэг, рассердилась. — Давай съездим к дедушке и Эрдэни, если ты уж такой старательный чабан...

Ехали быстро, встретили Эрдэни, он пас коров; дедушка за холмами метался по долине на лошади, подгоняя непокорных. Вскоре все встретились на зеленой поляне. Дедушка, пощипывая бородку, усмехался:

— Зачем приехали? Все задачи решили?

Цэцэг и тут расхвасталась, позабыв, что рядом Гомбо: она сама постигла все мудрости задачника.

— Умница, — похвалил ее Цого, — стоит угостить серебряной водой.

— Какой серебряной? — встрепенулась Цэцэг.

Вскочили на лошадей и поехали за дедушкой к Серебряному родничку. У отвесной скалы, отполированной, как стекло, из-под желто-красного камня в узкую расщелину пробивалась легкая струйка. Она искрилась на солнце и казалась не струйкой, а стеклянной палочкой, свитой из серебра. С жадным наслаждением пили, не в силах остановиться, будто жажда томила их целый день.

— Я никогда не пила такой вкусной воды! — восторгалась Цэцэг.

— Когда же тебе было пить, давно ли живешь на свете...

Гомбо и Цэцэг начали брызгаться. Цого строго их остановил:

— Нет-нет... Что вы делаете? Нельзя, это родник волшебный.

Отошли, сели на траву, держа лошадей за повод. Они стояли полукругом, покачивая головами, тоже приготовились слушать дедушку, который увлеченно говорил:

— В давно-давние времена в конце южной степи жил богатырь. Все его славили, построили ему золотой дворец. Состарился богатырь, ослаб, все его забыли. Жил он во дворце одинокий и заброшенный. Как-то взглянул в окно, идет по степи красавица, звали ее, как и тебя, Цэцэг. Полюбилась она старику: не ест, не пьет, не спит — о ней думает. Надел лучшие одежды, шапку шелком шитую, взял свой меч богатырский, пришел к Цэцэг: «Выходи за меня замуж; будешь жить в светлом дворце, иметь сто небесных халатов, носить красные сапожки, кушать хорошую еду на золотом подносе».

— Где ты видел, чтобы резвая козочка усидела в золотом загоне рядом с обглоданным козлом? Морщинистый, седой, безобразный, уходи! — и Цэцэг убежала.

Богатырь голову зажал, стоит, в зеркало на себя смотрит. Цэ-

цэг не ошиблась. Схватил зеркало, разбил его о каменный пол. Позвал мудреца.

— Помоги, скажи: можно ли спастись от старости?

— Можно: садись на верблюда, поезжай на восток за сто холмов: поверни на север, отмерь еще сто холмов, миновав желтые пески Гоби, спустись в долину, остановись, оглянись, увидишь в ногах скалы Серебряный родник. Утоли жажду.

Так богатырь и сделал. Едет обратно молодой, красивый, радуется, песни распевает, славит солнце, степь, горы... Долго он ехал. Встречает Цэцэг, поглядел на нее, отвернулся — жалкая старуха, облезлая коза, плюнул и ушел, не желая с ней говорить.

Первым перебил дедушку Эрдэни:

— Сказка!

— Ты, дедушка, выпил больше всех серебряной воды, а почему же не омолодился? — смеялась Цэцэг.

Пили еще из родника: старое не омолодилось, молодое не состарилось. Сели на коней, разъехались. Цэцэг склонилась на седле в сторону Гомбо:

— Знаю хорошее местечко: рощица, тень, ветерок — там и позанимаемся.

Ехали, ехали, Цэцэг так и не могла найти хорошее местечко. Остановило их солнце — оранжевый шар, плывущий в густой синеве. Горело полнеба, оранжевым пологом накрылась степь, и все вокруг оранжевое, даже Гомбо, Цэцэг, их лошади. Над головой метались черные беркуты — и они оранжевые... Старики знают, если беркуты беснуются над степью — худая примета. Гомбо и Цэцэг этого не знали. Цэцэг запела песенку, но голос ее прервался, на желтой полосе взвился столб пыли. Вмиг все вокруг потемнело. Оранжевое солнце померкло, стеной упала мутная марь. Обрушился сильный порыв ветра, лошади разгорячились и понесли. Сдержать их удалось лишь у густой рощи. Надвигался степной буран. Повернуть бы обратно, поспешить к юрте. Цэцэг опять станет смеяться: испугался! Ветер свирепел. Посыпалась снежная крупка. Закружился белый вихрь. Лошадей Гомбо и Цэцэг, как волной лодку в бурю, понесло и прибило к нежданному берегу — отвесной стене горы. Спрыгнули с лошадей. Пригибаясь, ограждая лицо от ударов снежного ветра, шли ощупью по отполированной стене, пока не наткнулись на углубление — небольшая пещера с каменным карнизом над входом. Гомбо оставил тут Цэцэг, поспешил к лошадям. Цэцэг заждалась. Он принес седла, расстелил кошмяные подстилки. Прижавшись друг к другу, они сидели под завывание бури, вглядывались в непроглядную снеговерть. Цэцэг дрожала, кутаясь в халат.

— Гомбо, я замерзла, закрой мне ноги.

Завернулись плотнее в халаты. Цэцэг дрожала. Взял ее руку, холодная, не выпустил, спрятал под свой халат. Ветер злился, холодно и Гомбо. Голова Цэцэг на его плече, горячая ее щека прижалась к его щеке. Ему стало жарко. Вскоре Цэцэг заснула; у самого уха слышно, как она сладко посапывает. Гомбо застыл, не двигался, дышал осторожно, чтобы ее не

разбудить. Что такое? Вглядывается в плотную муть, перед глазами оранжевое солнце, зажмурился. Все равно оно светит еще явственнее и жарче. Жаль, уснула Цэцэг, может быть, и она увидела бы оранжевое солнце. Вспомнилась дедушкина сказка: солнце поспорило с луной; луна стала светить днем, а солнце ночью... Что же было дальше? Забылось. А сейчас ночь или день? Открыл глаза, нет оранжевого солнца, темнота стала еще плотнее. Буря бушевала, свирепела. Цэцэг прижималась, ее рука в его руке, тепленькая рука, гладкая, как шелк халата.

Погода в пригобийских степях коварная, переменчивая. Чем бешенее буря, тем быстрее ее пронесет. У монголов есть пословица: не злись — погаснешь, не горячись — устанешь. Ветер внезапно утих, проглянули синие полосы неба, прорвались через поредевшую муть лучи солнца, и степь трудно узнать. Одетая в белое, она будто бы никогда не была зеленой. Едва ветер расчистил небо от тяжелых туч, солнце разгорелось и жарким огнем своим охватило степь от края до края. Степь быстро стала снимать свою белую одежду и, как красавица после короткого сна, засияла с такой яркостью, словно ее вымыли и заново подкрасили. Гомбо лежал не шевелясь. И когда пучок света ворвался под каменный навес и упал на лицо Цэцэг, он залюбовался ею. Щеки ее пылали, одна коса распустилась, волосы слегка прикрыли лоб, вторая лежала на плече, а кончик ее щекотал подбородок Гомбо. Он смотрел, точно впервые видел красивое очертание ее губ; они чуть приоткрыты, Цэцэг дышит спокойно, ровно.

Ну что это? Где светло-зеленый халат Цэцэг? На ней розовый с лиловыми отсветами, да и на нем не синий, а как у Цэцэг, такой же халат. Вновь шалит солнце: даже лошади, пасущиеся на полянке, холмы и увалы, убегающие в степную даль, розовые... Гомбо встревожился: солнце уже низко, его розовые отсветы — приближение заката. Цэцэг потянулась приподняла голову, ладонью уперлась в грудь Гомбо, открыла глаза, но от солнца тут же зажмурилась, и Гомбо услышал:

Ну, что это? Где светло-зеленый халат Цэцэг? На ней розовый с

Он вскочил. Цэцэг, подбирая волосы, смущаясь, попросила:

— Отвернись, я похожа на ведьму...— стала поправлять волосы.

— Я уснула, почему не разбудил? У, нехороший! Что мы ждем? Ночь, да?

Он, промолчав, взял уздечки, пошел ловить лошадей. Они паслись недалеко, насытившись, выискивали вкусную траву — мелколиственник, лениво им лакомились. Гомбо привел лошадей, остановился удивленный, Цэцэг ползала по мокрой траве, плакала:

— Где же они? Ведь это подарок дяди...

Подбежала к Гомбо:

— Нет моих часиков... Потерялись...

Стали искать, перебирая каждый камешек, травинку. Часы нашел Гомбо, когда отодвинул седла, приподнял кошмяной коврик. Цэцэг просияла, выхватила часы из рук Гомбо, приложила к уху:

— Идут! — подскочила к Гомбо, обняла, приложилась щекой к его лбу. — Умница! Хороший!

Оседланные лошади стояли, понуро опустив головы, ожидали хозяев, а они сидели на траве и, казалось, не торопились, хотя солнце упало низко, вот-вот спрячется за темную кромку гор.

— Хорошо, что ты меня не разбудил... Сладкое приснилось. Сижу, напеваю, а надо мной оранжевое солнце.

— Какое? — выкрикнул Гомбо.

— Что кричишь? Говорю, оранжевое, но краснее красного... Да, забыла, ты тут же, весь оранжевый. А потом... — она закрыла глаза, шумно вздохнула, — а потом... Нет.... не буду рассказывать...

— Ты дрожишь, Цэцэг.

— Промочила коленки, совсем замерзла, поедем скорее!

...К юрте подъехали, когда совсем стемнело. Встречала озабоченная Дулма. Приметила, что Цэцэг тяжело спрыгнула с лошади, вяло двигая ногами, пошла в юрту — там тепло, пылает огонь в печурке, а Цэцэг холодно. Пришли дедушка и Эрдэни, они пригнали отару овец, поставили на ночь в загон.

Ужинать Цэцэг не стала. Сидела на бабушкиной лежанке, Эрдэни положил ей ладонь на лоб:

— Бабушка, у Цэцэг жар!

— Простыла, — засуетилась Дулма.

Дедушка взглянул на Гомбо:

— Ты не простыл? Голова не болит? Не стыдно ли, простудил девушку, мужчина!

Эрдэни тоже грудью вперед на Гомбо:

— Не мог костра разжечь?

Гомбо вяло отбивался:

— Какой костер? Ветер сшибал с ног...

Дедушка постукивал по столу пальцами — сердился:

— Куда вы ускакали? Мы вас разыскивали! Ты, что, не видел, каким было солнце?

Гомбо отмалчивался. Дулма натерла грудь Цэцэг бараньим жиром, дала выпить настойку из трав, накрыла дрожащую от холода больную двумя одеялами. В юрте стихло, только потрескивал огонь в печурке да под бараньей шубой не умолкал приглушенный шепот. Дедушка ухо насторожил:

— Эх ты, жирный суслик, перепугался? В бурю страшно было, да?

— А ты за дедушкин халат спрятался... Не страшно было, да?

Послышалась возня. Дедушка громко закашлял. Юрту накрыла тишина; под бараньей шубой стихло.

В полночь юрта всполошилась. Цэцэг, пылая жаром, вскакивала с постели, рвалась, бежать, кричала:

— Солнце! Оранжевое солнце! Лови его, Гомбо, лови!

Бабушка едва успокоила Цэцэг, положив ей на голову мокрое полотенце. Утром все еще были в постели, Цэцэг уже на ногах. Затопила печурку, налила воды в котел. Бабушка поднялась с лежанки, схватила Цэцэг за руку:

— Ложись в постель! Зачем вскочила, ты же больна!

А Цэцэг смеется:

— Что вы, бабушка, это вам приснился сон, — и она красиво изгибаясь, будто танцуя, легко проплыла по юрте.

Ярче всех сияли глаза Гомбо.

Дулма недоумевала, подошла к Цого, глаза ее испуганно спрашивали: что что же будет? Он бородку пощипывает, хитрая улыбка скользит по лицу:

— Не тревожься, Дулма, молодое — кумыс крепкий, кипит, пенится; старое живет, покашливая, идет, прихрамывая... Гомбо, Эрдэни, пошли, юрту будем разбирать, кочевать надо на новые пастбища...

У Дулмы глаза расширились. Постояла молча и принялась свертывать одеяла, кошмяные коврики, складывать посуду. Цэцэг помогала ей. Гомбо и Эрдэни вынесли печку, Цого уже развязывал веревки, натянутые на покрышку юрты.

...По голубой поляне неба плывут одинокие облака, по степной равнине медленно двигается на юг караван. Солнце светит в полную силу, и облака горят веселыми отсветами, голубеет бескрайняя степь. Караван поднимается на песчаный холм, посмотрите на него: в небесную голубизну врезаны живые силуэты, они плавно покачиваются. Впереди на рослом верблюде едет Цого, за ним шагают шесть тяжело навьюченных верблюдов и шесть лошадей. Дулма тоже на верблюде, между горбами которого торчит труба от печурки, а по бокам в просторных сумах позвякивает посуда. В руках Дулмы узелок, она бережно держит его. Гомбо, Эрдэни и Цэцэг на лошадях. Они гонят стада. Собаки, зная свои обязанности, ревностно помогают, не умолкает их отрывистый лай.

Солнце уже давно склонилось к закату, а караван идет и идет. Цого без шапки, приложив ладонь ко лбу, смотрит в сторону гор, перерезанных пополам белой полосой. Обошли каменистую россыпь, пересекли полосу, заросшую высоким бурьяном. Цого остановил верблюда, внимательно вслушивается, словно степь должна сказать ему какое-то свое слово. Караван вновь двигается. Перевалив небольшой хребет, Цого вновь остановил верблюда; перед глазами широкая долина, по склонам нетронутая зелень. Цого заставляет верблюда опуститься на колени и сходит на поляну. Дулма тоже ставит своего верблюда на колени, идет к Цого.

— А где вода? Речка, родник, озеро?

Цого отмахивается.

— Найдем, найдем!..

...Уже стемнело, когда на пригорке поставили юрту. Дымок тонким столбиком поднялся к небу, луна окрасила белую покрышку юрты прославленного чабана Цого в зеленовато-серебристый цвет...

СИНИЕ КОНВЕРТЫ

Школа, школа...

Приближается миг, и для питомцев твоих, старшеклассников, прозвенит прощальный звонок. Гомбо и Эрдэни увлечены учебной мастерской.

Если бы учитель не напоминал им, что пора уходить, они готовы трудиться у станков до глубокой ночи.

Школа готовилась к выставке изделий учащихся. Всех это захватило. Эрдэни и два его друга под руководством молодого инженера увлеченно занимались сборкой водяного насоса собственной конструкции. На столе стопка книг, чертежи, листки с колонками цифр. Цель — бледный свет утренней звезды, она далека, чуть приметна, а радостно, есть технические находки, близок успех. Какое счастье давать воду жаждущим степям и в летний зной и в лютые морозы. А Гоби? Вода в пылающих песках Гоби...

Гомбо, Цэцэг и ее подруга трудились над макетом детского сада, оборудованного красивой мебелью, затейливыми игровыми сооружениями для малышей.

И учителя и родители узнали, что победители школьной выставки со своими изделиями поедут на аймачную, потом республиканскую выставку в Улан-Батор. Нашлись и хвастунишки. Еще не подводились итоги, а они поспешили написать письма родителям: мы едем в Улан-Батор, пришлите нам новенькие халаты.

Гомбо и Эрдэни сидели за столом в комнате общежития и трудились над письмом дедушке. Писал Эрдэни, прочитали написанное, порвали в клочки и выбросили. Писал Гомбо, прочитали, тоже выбросили. Сердились, молчали, смотрели в окно.

Плыли по небу облака; какие же они забавные: вон спешат овечка, козочка, за ними телочка и мохнатый верблюжонок. Ветер гнал их с востока на запад. Минуя горные увалы, они потерялись, растаяли. Едва очистилось небо, на восточной кромке его вновь собрались причудливые облака. Эрдэни задумчиво щурится, голос у него тихий:

— Думаешь, откуда плывут?..

— Вчера были над дедушкиной юртой, а сегодня здесь...

Плывущие по небу облака терялись в молочной дали; братьям казалось, что и они далеко, в родных степях: все близкое, все дорогое... Вот и юрта дедушки, и верблюд на сером увале возле чахлого куста. Прислушались, где-то близко свистнул сурок, потом второй, еще громче. Эрдэни соскочил со стула, смешно подпрыгнул.

— Ты что? Козел? — засмеялся Гомбо.

— Смотри, смотри! — закричал Эрдэни, — мой буланый обогнал твоего серого на две головы!

— Ох, ты! Когда это было, чтобы буланый обгонял? Спроси дедушку...

— Спроси, спроси!.. Вот он сидит у печки, курит трубку...

Оба расхохотались.

Гомбо выпрямился, схватил за плечи брата, повалил на пол.

— Орешь, что твой буланый обогнал моего серого? Да?!

— Ору и орать буду!..

Братья вцепились друг в друга. Возились, пыхтели, опрокинули стулья. Эрдэни победил. Сидели на полу красные, вспотевшие. За окном темнело небо, звезды, густо рассыпанные по нему, насмешливо перемиги-

вались. Гомбо отвернулся, Эрдэни тоже. Одолевали их вновь воспоминания. Побывали у Красного озера, собрали в плотную отару непослушных баранов и коз, вытаскивали из капкана тарбагана и он оцарапал руку Гомбо, ели сладкие пенки и творог, запивая густым чаем. Громко спорили, что лучше: холодная баранина с кумысом или хорхог — кусочки баранины, уложенные в шкуру козла, плотно зашитые и зажаренные на углях костра. Хорхог никто не умел готовить так вкусно, как дедушка. Это знали пастухи ближних и далеких степей.

Лишь поздно вечером родилось письмо.

«Милые дедушка и бабушка, перед вашими глазами только степь и стадо, а мы учимся и работаем в мастерской. Знаем, дедушка спросит: а накормит ли всех бараниной ваша мастерская? Не сердитесь, после окончания школы мы торопились в юрту помогать вам. Не вышло. Правительство нашей родины направляет выпускников школ на производство — на фабрики, шахты, заводы, транспорт, в мастерские. Разве вы против? Мы долго выбирали себе дорогу, выбрали... Самое красивое впереди. А что? Не скажем. Ты ведь, дедушка, всегда обрывал сказку на самом интересном и говорил: «Завтра, завтра...». Пусть бабушка пошлет нам немного вяленого мяса, сухого творога и сыра. В столовой мясо жирное и в обед и в ужин, но вкусной бабушкиной еды нет...»

Письмо готовы были подписать, да заспорил Эрдэни:

— Вычеркни, обжора! Никакой еды не проси! Зачем?..

Эрдэни переспорить брата не смог. Гомбо слово «немного» заменил словом «побольше». Конверт запечатали и утром опустили в почтовый ящик. Гомбо потер ладонь о ладонь, шумно выдохнул:

— Эх, пожуем вяленого мяска!..

...Красива степь в зимней одежде. Белоснежная долина, склоны ее в серовато-желтых плешинах. Косяк лошадей двигается медленно, бьют они копытами, разгребая снег, выискивают корм, за ними двигаются коровы, а за коровами — овцы и козы, выщипывают остатки. Юрта Цого на холмике. Если бы не темная струйка, которая вьется из трубы ввысь, то увидеть юрту нелегко. Конечно, кому надо, тот найдет...

Дулма сидит у печурки, Цого рядом, он уже в третий раз перечитывает письмо. Почерк Гомбо; Эрдэни, видимо, сидел рядом и, как всегда, вставлял свои слова, их узнать нетрудно... Сердце Цого подсказывало, что жизнь в его юрте поворачивается, но в какую сторону, он и сам еще не догадывался. Много ли прошло времени — и столько перемен. Как лисица на мягких лапках подкралось оно; Гомбо и Эрдэни выросли, окончили школу, и юрта им не нужна... Цого отложил письмо, прислушался; где-то близко загудела машина. Вышел из юрты. Черный газик петлял между увалами. Нырнул в долину, вновь взлетел на пригорок. Спешит к юрте. Цого крикнул Дулме:

— Подбрось в печурку аргала, наполни котел, к нам гости...

Газик фыркнул, миновав загон, повернул в сторону юрты, его встретили неистовым лаем собаки. Из машины вышли двое: сын Доржи и ветеринарный врач госхоза Дагва. Шоферу он подал синий конверт.

— Поезжай к юрте Бодо, вручи ему это письмо; быстро возвращайся, надо успеть пораньше приехать на центральную усадьбу.

Не успели гости и порог юрты переступить, еще не рассеялся холодный туман, ворвавшийся в нее, наполнилась она новостями. Доржи приехал работать в госхоз ветеринарным фельдшером. Дагва, довольный, схватил за руку Цого:

— Спасибо, уважаемый Цого, спасибо за сына! Ты же знаешь, что стадо в госхозе почти утроилось. Могу ли я один справиться? Доржи мой помощник...

Доржи подсел к Цого:

— Хоть ты, отец, и против больших домов со стеклянными окнами, а я буду жить там, на центральной усадьбе...

— Живи, я радуюсь...

Дагва протянул Цого пачку папирос, дедушка пачку отодвинул, закурил трубку, скосил щелки глаз в сторону гостя: его надо и выслушать и выспросить. Когда сгустилось облако дыма над головой хозяина и гостя, Дагва заговорил:

— Уважаемый Цого, пусть пока Доржи поживет в твоей юрте, окрестных стад много, работы хватит... Потом перекочует на центральную усадьбу.

Дулма вытерла повлажневшие глаза, бросилась к печурке, совсем забыла о кипящем котле. Цого пытался спросить о Гомбо и Эрдэни. Где они? Какой дорогой жизни пошли? Письма от них были, но по ним трудно что-нибудь понять. Молодые стали хитрее стариков... Окончили школу, заметались, как потревоженные птицы; там хорошо, тут еще лучше, а юрты Цого будто бы и нет на свете. Спрашивают своих дружков, слушают их советы, а Цого, видно, совсем стар, никаких советов дать им не умеет?..

Дагва расплылся в улыбке:

— Знаю, много слышал о Гомбо и Эрдэни. Они давно нашли бы свой путь, кое-кто мешает...

— Кто мешает? — вскинул голову Цого.

— Твоя юрта, уважаемый Цого, твоя бородка, трубочка, глаза, весь ты...

— Я?! Значит, я, старый верблюд, им помешал? Убить верблюда, содрать с него шкуру!..

— Только подумают куда-нибудь склониться, выбрать специальность и... остановка: понравится ли дедушке, разрешит ли это дедушка?..

Цого ущипнул бородку так больно, что скривился:

— Сурки степные, я же им писал: делайте, как подсказывает вам сердце...

Подошла Дулма:

— Родная юрта для них — ласковый очаг. Степь любят. Знаю, они вернутся. Я уже лежанки их обновила, постели мягкие приготовила, сшила новую занавеску. Приедут, приедут...

Дулма радовалась. Около нее Доржи:

— Мама, я спорил с ними. Сердятся. Непослушную овцу легче за-

гнать, чем повернуть их. Гомбо уехал на производственную практику, попал на деревообделочную фабрику, не то в мебельный цех, не то в цех игрушки. Эрдэни поступил на курсы техников-бурильщиков; окончит, поедет...

На печурке разбушевался котел, забулькал, зашипел, запахло гарью. Дулма бросилась к нему, не дослушав Доржи. Котел успокоился. Она вернулась к столу. Все молча курили. Можно ли заставить мужчину повторить им сказанное? Когда-нибудь это бывало? Слова крылаты, быстролетнее птиц, не поймал, потеряются в синеве степей, не вернешь...

В юрте тихо, лишь огонь в печурке потрескивает да молоко в котле кипит, приглушенно всхлипывая. Цого по юрте прошелся, остановился, головой покачал, взглянул на Дагву сердитыми глазами:

— В какие времена живем? Что же будет? Молодые куда хотят, туда и поворачивают... Кто их ведет? Мы, старики, забыты...

Дагва не ответил, а сам спросил:

— А зачем их вести? Разве они слепые?

Цого глядел удивленно, узоры на халате жены будто видел впервые, их хотелось потрогать. Почему такое полезло в его голову и понять трудно. Дагва рукой взмахнул, послышался его громкий голос:

— Наши молодые идут куда родина зовет!.. Ты, Цого, человек передовой, все понимаешь...

Дагва подумал: «Самое время ему вручить»,— и он подошел к Цого:

— Привез тебе письмо. Вот получи...

Он вынул и сумки синий конверт и отдал его дедушке. Дулма подала Цого очки. Распечатал он конверт и едва взглянул, улыбка пробежала по лицу:

«Почтенный Цого! Просим Вас посетить аймачную выставку лучших работ учащихся. Ваше слово для нас очень дорого...».

Цого заторопился:

— Дулма, ставь еду на стол. Хорошо ли потчевать гостей разговорами? Слышишь, уезжаю в аймачный центр. Смотреть буду, что наработали Гомбо и Эрдэни. Не бросили бы они тень на нашу юрту...

Дулма промолчала, лишь шумно вздохнула и начала накрывать на стол. Залаяли собаки, загудела машина. В юрту вошел Бодо.

— Сайн байну![1] В счастливое время живем... И вы новость, как жирную кость, обгладываете со всех сторон? Видишь, Цого, синий пакет? Еду на аймачную выставку!..

Бодо поднял над головой синий конверт. Цого взглянул, быстро распахнул ворот своего халата и выхватил из-за пазухи такой же конверт:

— Видишь, Бодо, и я еду. А как твоя Цэцэг? Вернулась в юрту или стала артисткой, поет? Душевный у нее голосок...

Бодо сел у печурки.

— Цэцэг? Не спрашивайте. Нынче отцы о своих детях разве что-

---

[1] Здравствуйте **(монг.)**.

нибудь знают? Как услышал, глазами будто на острый дерес накололся — ничего не вижу; уши мои свист сурка оглушил — ничего не слышу...

— Где же твоя Цэцэг?.. — не терпелось Дулме.

Бодо шею вытянул, рот открывает, а сказать не может:

— Ла-ла... — достал из-за пазухи бумажку, поднес к глазам, по складам прочитал:

— Ла-ба-рант-ка... Вот кто! — задохся он, едва выговорив. — Спросил ее: где же это? Она в ответ: сказать не могу, секрет... Громче спрашиваю, ногой топаю, я же отец. С каких же времен родной отец не знает, куда направилась его дочь? «Нельзя, отец, нельзя... Государственная тайна...» Вот какая жизнь наступила...

Дагва и Доржи насмешливо переглядывались. Старики рассердились. Бодо и Цого в один голос выкрикнули:

— Почему смеетесь? Без нас, стариков, еще плакать будете!..

Цого брови свел, трубкой по кромке стола постучал:

— В давние времена было. Старый мудрец Лувсан жил; сыновья и дочери у него выросли. Из юрты его выгнали: — Юрта наша, скот наш! Иди, много ли тебе одному надо... Сам себе еду добывай!...

Мудрец низко поклонился им: — Верно, как я не догадался? Ухожу, ухожу...

Дети обрадовались. Догадался, сам ушел.

Стали пировать, радоваться, пить крепкую архи.

Старший брат выпрямился, крикнул, чтобы все слышали:

— Юрта моя, скот мой, я — старший!..

Шум поднялся, юрта, как в бурю, задрожала, начали братья и сестры драться, таскать за волосы друг друга. Устали, сели на землю, злобятся, рычат: — Делить будем поровну! Пошли делить!

Выбежали из юрты да к коновязи, вскочили на лошадей. Объехали степь, нет ни стад, ни пастухов. У Черной горы стоит одна рваная юрта. Подъехали, вышла из нее старуха:

— Кого ищите?

— Ты, что, слепая? Мы дети мудрейшего Лувсана. Где его скот: лошади, коровы, овцы, верблюды?

Старуха желтым пальцем указала на дальние горы:

— За мудрым все идут... Ушли за ним и его стада...

Дагва громко рассмеялся:

— Уважаемый Цого, это же старая сказка... Разве Эрдэни, Гомбо, Цэцэг похожи на детей Лувсана?

Бодо положил руку на плечо Цого:

— Нет, друг, старое остается старым; оно умерло, как дым на ветру... У нас, сам видишь, новая жизнь. Собирайся, поедем в аймак...

Цого забегал по юрте, торопит Дулму:

— Давай, давай! Ехать надо, ехать!..

Дулма прятала заплаканные глаза; и светилось в них не печальное, а радостное... В кожаный мешок старательно укладывала она вкусную еду для своих любимцев — Гомбо и Эрдэни.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ СНЕГ

Посвящается моей дочери,
Ладе Захаровой

В. ЗАХАРОВА

Чуть — яблоком на вкус, чуть — апельсинной коркой...
Он выпал для тебя, чтоб варежкой ловить.
Да, он вчерашний снег.
Кататься поздно с горки
и рано спать. Но время сказкам быть.
Мы кружим по двору, и снег летит на губы,
к тебе на капорок и на вечерний свет.
Снег любит детвору. Он и тебя полюбит,
и если ты уснешь, он будет сном про снег.
Красивый и живой, он — Мотылек мохнатый.
Он — добрый Дед Мороз в мерцающем лесу.
Придумывай сама. Я подскажу: он — радость
ресницей зацепить усатую звезду...
Мой милый человек, я, может быть, расплачусь,
я сочиню стихи: «ты» — рифма на «цветы»...
Сентиментальный снег, и слов твоих ребячьих,
веселых детских слов пушистые птенцы...
Сентиментальный снег...
Летит,
ласкает,
вертит
тебя и белый мир, придуманный из книг...
Соцветия снежин, снежинкины созвездья
к тебе на капорок, ко мне на воротник...

* * *

Когда нахлынет в мой черный город
вечерний свет, сокровенный свет,
когда к окну, словно слезы к горлу,
подступит первый и щедрый снег, —
боюсь казаться тебе печальной,
прильну, как будто бы невзначай...
Согреем чайник, напьемся чаю
и долго-долго начнем молчать.
А снег, он славный, он валит, валит,
он словно знает, чем нам помочь.
И задувает, как одуванчик,
наш тихий город большая ночь...
Я утешительница плохая.
Мне хорошо, чудак-человек,
твое прерывистое дыханье
ловить губами, как первый снег.

* * *

На завтрак — чай, к обеду будет суп...
Я, ко всему мирскому равнодушна,
живу теперь, не то, чтобы в избушке,
но все-таки в заснеженном лесу.
И для меня давно уже не редкость
и красок чистота, и света резкость,
роскошные сугробы на дворе
и эти деревенские деревья.
Мне нравятся условия игры:
здесь все, как в детстве, мило и понятно —
наш белый двор, мое пальто на вате
и маленькая девочка с лопаткой,
которая мне «мама» говорит.
Естественным своим круговоротом
проходит день в волнениях простых:
я провожаю мужа на работу,
гуляю с дочкой, завожу часы...
... К обеду — суп, но что сварить на ужин?..

А к вечеру, я знаю, будет стужа.
В печурке будут долго петь поленья,
и дочь уснет, и окна побелеют...
Уснет наш дом, и я сама усну...
Мое воображение послушно:
мне снится, будто я живу в избушке,
в каком-нибудь заснеженном лесу...

Дм. СЕРГЕЕВ

НАЧАЛО ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ

Рассказ

Тучи застлали снежные пики Чауда и клубились в верховьях Яман-Гола, вспыхивая и разрываясь от неистовой силы, заключенной в их черной, непроницаемой глубине. Впереди лежала широкая межгорная впадина и за ней — ослепительные зубцы Дагара. В той стороне еще светило солнце. Лагерь геологической партии находился в устье Яман-Гола на высоком яру среди сосен. До палаток оставалось шесть километров.

Косматый фронт тучи поглотил солнце. Застучали первые дождевые капли. Темные их рябины недолго пятнали серую поверхность глыб — скоро все стало одинаково мокрым и темным.

Минуту спустя ливень промочил одежду. Рубаха и куртка под тугим напором ветра облепили тело старшего геолога. Иван Николаевич Игумнов никогда не отличался тучностью, а в конце трехдневного маршрута по горам не располнеешь. Даже рюкзак за его спиной выглядел тощим и висел неподобранно. При каждом шаге образцы колотили геолога под зад. Игумнов на ходу свободной рукой подтягивал лямки. В другой руке он держал молоток и по привычке опирался на него, как на трость. Двое других маршрутчиков, геофизик Моторин и оператор Ильин, вприпрыжку поспевали за своим длинноногим напарником.

Обычно ходили по двое — геолог и оператор, но в этот раз с ними увязался главный геофизик экспедиции. В партии он был наездом, и ему хотелось побывать хотя бы в одном маршруте. Сейчас все трое еле держались на ногах и сильно продрогли: шквальный ветер на выходе из ущелья пронизывал до костей.

— Переждем.

У самой скалы было сухо. Слой кремнистой породы посреди известковой толщи высовывался из обнажения. Под ним можно было укрыться от ветра и ливня. У подножия отвеса потоки дождя в давнее время выстегали каменистый желоб. По нему катился временный ручей, несло хвою, ощепки лиственничной коры да проплывали дождевые пузыри.

— Надолго занепогодило,— предрек старший геолог.

— Перезимуем. Добрый бы кус хлеба да бифштекс в зубы вот этакий.— Оператор ребром ладони отмерил на своей руке невиданную порцию бифштекса.

— А потом в спальный мешок,— подытожил геофизик. Втайне он гордился собою: трехдневный маршрут выдюжил наравне с тренированными полевиками, которые к тому же были помоложе его. Правда, Игумнов всего на три года.

Все трое спинами прижались к шершавой каменистой стенке. От нее пахло плесневелым мохом и раскрошенным нутром древних осадочных пород.

— Костер бы изобрести,— вслух подумал геолог, прицеливаясь взглядом к кривоствольной березе.— Береста для растопки есть. А вот и дрова!

В самом деле, почти над ними с уступа свешивалась оголенная верхушка поваленной сушины. Степан Ильин подпрыгнул и ухватился за ветку, но мертвое дерево не шелохнулось, распластав по трещинам цепкие корни, оно, даже рухнувшее, крепко держалось на скале. Степан выпрягся из приборных лямок, поставил радиометр на сухой камень под навес.

В залпе грозового разряда не слышно было, как Ильин возился наверху, пытаясь спихнуть с уступа лиственничную валежину. Моторин с Игумновым перочинными ножами отдирали бересту. Деревце было гнутое и чахлое: вырасти высоким и стройным ему не хватало почвенных соков на скудной каменистой земле. Береста отслаивалась небольшими лафтаками.

— Алло, начальники,— послышался сверху голос оператора. Ухмыляющееся лицо Степана в чистых дождевых каплях свесилось с карниза.— Обнаружена неандертальская гостиница,— сообщил он.— Есть свободный номер на одно маленькое племя.

Забраться на уступ было несложно. Вход в пещеру маскировали колючие кусты шиповника — издали не разглядеть. Изнутри веяло влажным теплом и пустотою. Свод был достаточно высок, чтобы стать в рост. Дальняя стенка смутно различалась в полумраке.

Костер разложили у входа. Сухая плотная древесина не успела еще пропитаться дождем, разгорелась быстро. Стало уютно, можно было раздеться и просушить одежду. Блики пламени елозили по своду и стенкам известкового грота. Снаружи шумел ливень, испепеляюще резко вспыхивала молния, просторное подземелье содрогалось от грохота. Затуманенные ливнем горы на той стороне долины не проглядывались, молнии высвечивали только макушки лиственниц в пойме реки. Они озарялись ненадолго и опять пропадали в грозовом мраке. Сидя в гроте у жаркого костра, можно было спокойно любоваться грозой.

— Может быть, лет тысяч десять-двадцать тому назад на этом самом месте у костра собирались после охоты наши предки,— предположил Моторин.— В самом деле, почему бы им не жить здесь? Пещера подходящая.

— Пещера-то подходящая, да межгорье Чауда мало пригодное место для жизни,— не согласился Игумнов.— Разве какое-нибудь малочисленное племя, если его загнали сюда сильные конкуренты...

— А все-таки здесь кто-то был!— прервал его рассуждения Степан.— Смотрите!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рокот водопада в пустом ущелье разносился гулко и повторялся эхом. Неутомимый До изредка лаял, давая знать Пиру, что он впереди и держит след.

Погоня началась с рассвета. Охотник и собака подняли оленя с ночной лежки и теперь старались не дать ему передышки, чтобы животное не могло утолить голод. По едкому запаху, который держался на кустах, человек знал, что зверь уже запалился и развязка наступит скоро. Да и уйти олень никуда не мог: выхода из теснины не было — верховье ключа замыкали отвесные скалы, полукружием обступившие крохотное озеро. Олень был в ловушке.

Пир хорошо изучил эти места. Там, где долину перегородил недавний обвал, а большую часть поймы сделал непроходимым залом из смытых рекою деревьев, охотник добавил немного стволов. Зверю, который хотел спастись от преследователей в верховье, ничего не оставалось, как повернуть в ущелье — тупик.

Теперь, когда добыча была уже близка, Пир мог спокойно думать обо всем, что попадалось на пути. Это нисколько не мешало его ногам — сильные и быстрые, они работали сами по себе в одном и том же ритме. Человек без малейшего напряжения ощущал каждый мускул своего легкого тела: он мог бы и еще столько пробежать без отдыха. А в памяти само собою удерживалось все, что попадалось на глаза: мшистая в тени каменная стена, корни кустарников, свисающие с нее, гладкий бок валуна в сыпучем борту ручья, дерево с расщепленной и оголенной вершиной...

Странно было не это, другое: находясь вдалеке от пещеры, где жило племя, Пир отчетливо представлял себе ее каменистую полость, старого У, сидящего у костра, его тяжелое скуластое лицо с опавшими щеками, костлявый излом старческого тела... Прежде У был вождем племени, но теперь уже не годился на это и досиживал свой век в пещере, охраняя и поддерживая огонь, когда женщины разбредались в поисках грибов и кореньев, а мужчины уходили на охоту.

Удивительные вопросы приходили в голову Пира. Он донимал ими старика:

— Отчего запах пищи, которую ели накануне или еще раньше, заставлял трепетать мои ноздри? Как я могу улавливать запах, которого давно нет?

— Ты задаешь много ненужных вопросов. Откуда такой порченый взялся среди нас? Вроде все у тебя, как у других: крепкие ноги и руки, сильное тело и меткий глаз — но отчего твой ум занят пустыми, никчемными мыслями? Не думай больше про это,— наставлял У.

Пир старался выкинуть из головы пустое, но у него не получалось: мысли приходили к нему сами.

Следы оленя привели на каменистое дно ущелья. Между глыбами тихо журчала вода. Впереди на скальном отвесе увиделся вывороченный

с корнем мертвый куст и сухие ветви, распластанные на каменной стенке.

И опять — как уже было до этого — в извивах корневища и трещинах глыб Пиру почудились рога живого оленя. Только это был невиданно громадный олень, застывший на одном месте в стремительном полете-прыжке: отростки корня и ветки — рога, выпяченный бок валуна — напруженное, залосненное от пота тело, трещина — выброшенные вперед ноги...

Пир продолжал бежать по следу, не отводя глаз от этого чуда. Потом увидел все как есть: корни, скалу, трещины — и оленя не стало. Но, если напрячься, он снова мог бы увидеть животное, которого на самом деле не было.

Вот это-то необъяснимое и странное свойство молодого охотника и вызывало тревогу.

— Видимо, у Пира порченые глаза,— решил У.— Болезнь удивительная и до сих пор неизвестная племени. Насколько она опасна? Чем и как лечить ее? Не поразит ли хворь других охотников?

Знахарка Эг приготовила отвар из кореньев и трав, Пиру промыли глаза. После этого их долго нестерпимо щипало, и без боли невозможно было разнять веки. Пир притворился выздоровевшим. Но он мог провести кого угодно, только не старика — У видел, что с юношей творится неладное...

Голос До стал отчетливей и раздавался с одного места. Видимо, пес загнал оленя на отстой.

Пир выкарабкался на верхнюю ступень долины. Перед ним лежало спокойное и мертвенно гладкое, без зыби, озеро в охвате скалистых вершин, которые громоздились высоко в прозрачную синеву. Вблизи берега на одном утесе, поместясь всеми четырьмя копытами на крохотной площадке, стоял загнанный олень. Собака не могла достать его и неистовствовала внизу, задыхаясь от лая.

Олень и пес одновременно услыхали приближение человека. Пир не мог оторвать глаз от напряженно мускулистого тела взмокшего от пота оленя. Его бока раздувались и опадали. Большими и печальными глазами олень смотрел на охотника, покорно ожидая своей участи. Пир сам сейчас чувствовал себя в его шкуре и, внутренне содрогаясь, готовился принять смерть от руки охотника. Свое родство с ним Пир сознавал постоянно: когда сам бежал и карабкался по кручам, мысленно представлял себя таким же ловким и стройным, как олень. Но вместе с тем Пир опытным взглядом оценивал будущую тушу свежего мяса и радовался, что олень успел вылинять, густой новый мех будет хорошо держаться. В голосе До появились жалобные нотки: ему не терпелось отведать свеженины — он честно заслужил свою долю.

За спиною у Пира на ременной бичеве закреплена сухая рогулина с расщепом на конце — праща. Пир неторопливо снял ее и огляделся, выбирая пригодный камень.

Острый осколок тяжело и глухо ударил оленя в голову, слышно бы-

ло, как хрустнула кость. Из глубины оленьей утробы последней жалобой выдавился непродолжительный стон. Ноги сделали судорожную попытку удержаться на вершине утеса. Сразу ставшая грузной, туша оленя с высоты рухнула на глыбы. Большие копыта в предсмертных конвульсиях еще молотили воздух. До, избегая их смертоносных ударов, бросился терзать поверженного зверя.

Пир отогнал пса. Костяным ножом пропорол глотку, чтобы вытекла кровь. Припал к ране, взахлеб глотая горячую и пахучую пульсирующую струю. Он не мог выпить всю кровь, густая темная жижа хлестала на землю. До, ворча и озираясь, сглатывал и вылизывал ее, прежде чем она просачивалась в песок.

Теперь нужно было освежевать и разделать тушу.

Над поймой сквозь редколесье виднелся глиняный отвес. Тропа к пещере, где жило племя, проходила под самой кручей. Наверх тоже карабкалась по каменистой ложбине. Никто не смог бы здесь подкрасться незамеченным. Удачливые охотники издали оповещали соплеменников победным криком, и все, кто был в пещере, выбегали встречать.

Пир готовился крикнуть, когда неожиданно отвлекся.

На самом верху глиняного борта после недавнего ливня обнажилась изгибистая плеть корня. Случайный расхлест ветки напомнил Пиру очерк выгнутой спины и опущенной шеи оленя, бегущего сквозь чащу. Пир скинул с себя шкуру убитого животного и половину туши — все, что смог принести за один раз. Высоко подпрыгнул и палкой зацепил свисающий корень. Выдрал его из глины. Гибкая ветвь безжизненно поникла в его руках — обыкновенное корневище.

Внезапная мысль подстегнула Пира. Он приволок из лесу валежину, взобрался на нее, чтобы можно было дотянуться, и острием обломленного сучка стал чертить по глине. Он повторил почти тот же контур, который остался на месте выдранного корня. Добавил всего две линии спереди и сзади — получились ноги. Пририсовал еще наклоненные рога.

Вычерченный в глине олень стал похож на живого — гораздо больше похож, чем туша убитого животного, лежавшая на камнях неподалеку. Это было необъяснимо: Пир хорошо знал, что на самом деле никакого оленя на обрыве нет — всего несколько продавленных борозд. Ни копыт, ни рогов, ни шерсти, ни запаха — всего, без чего не может быть оленя, ни живого, ни убитого. От шкуры и оленьей туши пахло кровью, мясом, потом,— и все же они не могли соперничать с несколькими кривыми бороздами в борту глиняной террасы. А ведь из шкуры еще очень долго не выветрится запах оленя, глина же всегда будет пахнуть только глиной.

До лежал в стороне и внимательными глазами наблюдал за странным поведением хозяина.

Пир набрал воздуху в легкие.

— То-тэ-то е-э!!!

Человек тридцать мужчин, женщин и детей выбежали навстречу ему. Он представил себе, как все будут поражены, увидав нарисованного оленя. Но никто даже не посмотрел на глиняный отвес — всех интересовали только принесенные им мясо и шкура.

— Что ты разглядываешь там?— поинтересовался один.

— А разве вы ничего не видите?— спросил Пир.

Все долго, пристально смотрели на глиняный борт. По их лицам Пир понял: никто не видит оленя.

— Вот же — олень!— он палкой обвел контур.

— Здесь только глина. Ты опять болен.

Двое мужчин несли мясо, добытое Пиром. Он понуро брел позади всех по узкой тропе.

О несчастье, постигшем молодого охотника, рассказали У. Тот старческими, слезящимися глазами смотрел на Пира и скорбно качал головой. Люди вблизи Пира замолкали, женщины обращались к нему ласково, как к больному. Когда мясо было готово, Пиру вырезали лучшие куски.

Нужно было идти в обратный путь, к месту, где осталась другая половина туши, пока на нее не набрел медведь или волки. Внизу Пир ненадолго остановился взглянуть на своего оленя. Все-таки он был! Почему же никто не видит? Или он в самом деле болен?

До бежал впереди, обнюхивая кусты. Ему часто приходилось останавливаться, ждать хозяина. Обоим предстоял долгий путь.

Возвращались они на другой день.

Скалистый борт на выходе из теснины хорошо знаком Пиру. Ржавые полосы вдоль и поперек рассекали податливый камень. Из них на окатанную спину речного валуна насыпался желтый порошок. Иногда его накапливалось помногу, но после очередного ливня вода смывала мажущий порошок. Нынешним летом стояла продолжительная сушь, желтого порошка накопилось особенно много. Пир остановился передохнуть напротив скалы и долго смотрел на валун, обсыпанный мажущей пылью.

«Нужно достать этого порошка!»— осенило его.

По выступающим из воды глыбам перебрался на другой берег. Охра, жирная на ощупь, пачкала руки.

Полосы, прочерченные в глине, замазал охрой. Теперь уже только слепой мог не увидеть нарисованного оленя.

Пир крикнул, и опять люди выбежали из пещеры навстречу ему. Он стоял на том же месте, где и тогда, и смотрел на стену. Люди сочувственно молчали.

Первым черты изображенного оленя разглядел подросток Эд.

— Вижу! Вижу!— радостно и испуганно прошептал он, тыча пальцем в сторону отвеса.

У Пира сдавило горло. Он потрепал жесткие и маслянистые космы на голове Эда.

— И я... тоже вижу,— недоуменно проговорила Ми и встала рядом с Пиром.— Это ты... сам сделал?

Остальные шарахались от глиняной стены, на которой ярко выделялись таинственные и опасные линии, прочерченные рукой больного Пира. Никто не решался притронуться к ним. Неизвестная и страшная порча угрожала племени — уже не один, а трое были поражены недугом.

Необходимо было принимать решительные меры. Вождь племени Ясу спустился к подножию террасы и долго смотрел на желтые полосы. Он был охотник и воин, и ему не подобало страшиться опасности и отвертывать голову от обрыва, как делали другие. Никакого оленя он не увидел. Да и как можно было увидеть то, чего нету! И пахло от стены глиной, а не мясом и потом животного.

«Наверно болезнь поражает только слабых,— подумал Ясу,— а к тому, кто крепок и здоров, не пристает. Не случайно, кроме Пира, пострадали подросток и женщина».

Решили выселить из пещеры одного Пира. Племя не могло лишиться сразу троих. Даже и одного Пира жаль было терять. Он хороший охотник, а самое главное,— искусный тесальщик камня. Лучшие топоры и наконечники для стрел изготовлены им. У него поразительно гибкие и чуткие пальцы и наметанный глаз: он будто насквозь видит неприметные, скрытые трещины, по которым проще всего расщепить камень на пригодные для обработки осколки.

Возможно, у Ми и Эда болезнь пройдет. Знахарка Эг и У будут врачевать их.

Пиру отделили запас пищи и отдали шкуру добытого им оленя. Топор и стрелы он изготовит. В последние дни охота была удачливой, на долю Пира пришлось немало — запасов должно хватить дня на три-четыре. Потом он будет заботиться о себе сам.

Пир в последний раз глядел на соплеменников, вышедших проститься с ним, и на своего оленя.

— Признайся, что там ничего нет. Скажи, что не видишь никакого оленя,— шепотом посоветовал Пиру его лучший друг Пум.

— Но я вижу. Он есть. Может, и ты скоро увидишь.

Пум испуганно отшатнулся от помешанного.

Никто не произносил напутственных слов — и так все было ясно. Тяжелый ком прокатился по горлу Пира. Ему хотелось еще долго-долго смотреть на людей, но времени у него не было: потрескивающая головня в его руке торопила его.

В устье того самого притока Большой реки, где два дня назад Пир и До загнали оленя, была небольшая пещера. В ней и решил поселиться Пир. Нужно было добежать туда раньше, чем погаснет головня.

* * *

Удивительно было, почему раньше они не замечали их: на своде и боковых стенках грота рисунки были хорошо видны. Накрутив бересты

на палки, соорудили самодельные факелы. В их свете озарились самые дальние углы пещеры. Всюду, где только нашлось место, в известняке был высечен один и тот же контур — бегущий олень. Кой-где слои известняка выкрошились от времени, рисунок был неполным, незаконченным. Но тогда недостающая часть прослеживалась контурно по сохранившимся вразброс линиям. Известняк был древним, окристаллизовался, стал почти мраморным. Можно было удивляться, сколько труда затрачено кем-то в этом заброшенном посреди пустынных ущелий гроте. Местами сохранилась черная и оранжевая краска, вмазанная в продолбленные линии.

Не разобрать было только, что изображено на дальней, самой просторной и ровной стене напротив входа. В беспорядке были разбросаны отдельные куски рисунка: оленья голова, круп, ноги — и все перечеркнуто. Как будто древний художник делал эскизы будущей картины, остался недоволен и хотел вымарать свою работу.

Дымная чернь от бересты тянулась кверху, оседая на своде пещеры. Погасили факелы, подложили в костер сушняка. От костра меньше было копоти, и дым уносился из грота, чуть-чуть только закапчивался пласт породы над входом. Пламя сильно колебалось, и фигуры оленей, черные точки их глаз выявлялись из мрака, словно живые.

Снаружи по-прежнему бушевал ливень. Молнии на мгновение высвечивали кулисы облаков, и казалось, что там, наверху, тоже есть свои ущелья и гроты.

В котелке над огнем клокотала вода, выплескиваясь на угли. Старший геолог обшарил все кармашки своего рюкзака. Отыскался завалявшийся кусок сахара, почти совсем размокший.

— На заварку годится.

Кипяток заправили жженым сахаром. Чай чуть-чуть сластил и, главное, стал запашистым — все-таки не вода. Нашлось немного и сухарей зубы поточить.

От того, что в пещере горел огонь, а за стенами полыхали молнии, казалось, наступила ночь, хотя на самом деле не было еще и четырех часов.

Остатки сахарного чая Игумнов допивал не торопясь, растягивая наслаждение. Правда, какое там наслаждение — обыкновенно он пил натуральный байховый чай, настоянный под цвет дегтя — по-сибирски. Ильин и Моторин быстро покончили с сухарями и кипятком и старались табачным дымом заглушить нисколько не утихший голод. В переменчивом свете костра фигуры высеченных оленей, казалось, передвигались, будто паслись невдалеке.

— Только дразнят, черти рогатые,— сказал Степан.— Лучше бы вместо этого стада один настоящий — были бы у нас и бифштексы и шашлыки.

От этих слов Моторину вообразился сочный запах жареного мяса. Он сглотнул слюну и неодобрительно посмотрел на оператора. Старший геолог допил остатки чая.

— Раз уж мы все равно вынуждены отсиживаться,— сказал он,— займемся делом. Нужно составить план грота и хоть как-нибудь перерисовать фигуры.

— Только роль старшего берите на себя. С этакой работой мне никогда не приходилось сталкиваться,— признался Моторин.

— Мне тоже. Но план-то, я думаю, составить в наших силах. Если находкой заинтересуются, сюда прибудут специалисты — им и карты в руки.

— Готов послужить для науки, хоть и не пойму, кому и какая польза от этих каракуль,— сказал Моторин.— Нет, нет,— поторопился прибавить он,— то, что эти рисунки наша история и прочее, это я понимаю и признаю. Но...— Он растопыренными пальцами показал в глубь пещеры, сразу на все стены.— Но меня больше всего поражает другое: почему этим дикарям не жаль было труда и времени. Думаю, им и без того хватало забот. Того же оленя загнать.

— Ну что ж. В затяжные ненастья от безделья о чем только не толкуем,— сказал геолог, доставая из полевой сумки рулетку, компас и листок миллиметровки.— Давайте и сейчас будем рисовать, обсудим своим умом: имеет ли наскальная живопись подлинную ценность.

— Принято,— согласился Моторин.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пир не пробежал и половины пути, когда позади расслышал чьи-то быстрые и легкие скачки. Охотник свернул с тропы и приготовился защищаться. Тревога оказалась ложной: по следам хозяина мчался До. Пир потрепал собачий загривок, и До, непривычный к ласке, удивленно посмотрел на хозяина. Дальше они шли вдвоем, Пиру стало не так тоскливо. Верный пес добровольно разделил с человеком участь изгнанника.

Пир знал одну пещеру, пригодную для жилья, в ней могла бы поселиться небольшая семья. Он наткнулся на нее случайно, рыская вместе с собакой по звериным следам. Грот был хорошо защищен в случае нападения: ни человек, ни хищник не сможет подобраться ко входу незамеченным и неуслышанным.

Пир не мог позволить себе бездельничать. Набросав в костер толстых валежин и присыпав сверху землей, чтобы не разгорались сильным пламенем, а тлели, отправился на охоту. Назавтра ему пришлось вернуться ни с чем, хотя они с До напали на свежий след. Пес некоторое время продолжал еще погоню, потом, не слыша Пира, оставил зверя.

— Мы должны вернуться в пещеру и подложить дров,— объяснил Пир недоумевающему псу, который прыгал вокруг хозяина и обиженно лаял.— Иначе погаснет огонь.

Еще дважды Пиру приходилось оставлять почти уже загнанного оленя и возвращаться в грот, чтобы поддержать огонь.

Долго так не могло продолжаться, необходимо было что-то придумать. Кроме того, Пиру было невыносимо тоскливо в одиночестве. Рань-

ше ему случалось уходить надолго одному, но тогда он не испытывал тоски, потому что знал: есть вдалеке над речным обрывом пещера, где живет племя, и, когда он добудет мяса, он снова придет туда — к людям. Теперь он возвращался в пустой грот, где слабо тлели остывающие угли. Он давно не ел мяса — одни коренья да ягоды, иногда орехи — и начал слабеть. До никак не мог понять, что происходит с хозяином, почему Пир покидает его, когда запах загнанного оленя так приманчиво близок. Пес одичал, стал промышлять в одиночку. Пир по калу узнавал, чем удавалось разживиться собаке. Чаще это были мелкие длинноухие зверьки. Пиру и самому иногда случалось подшибить камнем одного из них. Но этого было слишком мало. Надвигалась долгая зима — голодная и морозная. Пир понимал: одному ему не пережить ее — околеет с голоду. А собака либо разделит с ним участь, либо вернется в большую пещеру, к людям.

Даже и наяву его мучали грезы.

Пир был еще несмышленышем, когда племя, теснимое многочисленным и сильным народом, вынуждено было оставить привольную страну Несчитанных озер, бежать в горы. Раньше он ничего не вспоминал об этой поре — кое-что слышал от старших и только. Собственно его воспоминания, которые ожили сейчас в одиночестве, были смутными, но волнующими. Навязчивей всего возникали прошлые запахи. Один из них похож на легкое веяние пыльцы бледных весенних цветов, которые распускаются на горных кустах, едва ветви отряхнутся от снега. Так пахла озерная вода. А от воспоминаний другого запаха у Пира и вовсе щемило в груди. Этот запах шел от загорелой кожи на спине у женщины, которая таскала его на себе, когда сам Пир не был в состоянии пройти много. У женщины были легкие и длинные волосы. Пир любил растрепывать их и накручивать на пальцы. Еще у нее были удивительно мягкие и нежные ладони. Привязанность к ней была самым сильным и прочным чувством его детства.

Потом он вырос и позабыл ее.

Сейчас он, как и все другие его сверстники, не знал, которая из женщин племени носила его на себе и жива ли она. Его привязанность распространилась на всех женщин в Большой пещере. Видимо, это происходило от одиночества. Ему снились мучительные и приятные сны: он видел себя слабым, беспомощным ребенком, но вокруг него были люди и теплые женские руки ласкали его, и ему было радостно и покойно. Но сны были короткими.

Он не мог все время молчать и приучился разговаривать с собакой. До внимательно вслушивался в речь охотника и повиливал хвостом.

— Нам нужна женщина,— говорил Пир.— Женщина будет заготавливать дрова и поддерживать огонь, находить коренья и орехи. Мы сможем уходить далеко от пещеры и охотиться. Без женщины мы оба погибнем.

— Я украду Ми, — решил он вслух.

Почему именно ее, а не другую женщину племени, Пир не мог рас-

толковать собаке. Ее лицо всплывало первым в его памяти, когда он думал о покинутой пещере. На острых выступах ее скул, обтянутых свежей и гладкой кожей, переливались отблески пламени костра, в узких и раскосых глазах веселыми огоньками вспыхивали темные и глубокие зрачки, когда она случайно взглядывала на Пира. Она была легка и быстра на ногу. Сколько раз Пир видел, как Ми без передышки вбегала по тропе на откос. Ее крутые бедра, вольно накинутый на них обрывок выношенной шкуры, ее ноги двигались плавно и сильно,— песок и галька шуршали, выкатываясь из-под ее стремительных ступней.

Пир навыворачивал много толстых старых и гнилых пней. Они хотя и не дают яркого пламени, зато подолгу тлеют, сохраняя огонь в трухлявой сердцевине. Он понимал: украсть женщину будет не просто. Неизвестно, сколько времени понадобится провести в засаде. Пес, видя, что хозяин не собирается на охоту, отправился рыскать по лесу в одиночку. Пиру это было даже на руку — появление собаки вблизи пещеры, где живет племя, могло быть замечено и насторожило бы всех. А ему необходимо застигнуть Ми врасплох.

Сотни знакомых примет попадались ему на пути, когда он подкрадывался к жилищу племени: галечный берег на излучине, расщепленное молнией дерево, сухая сосна с гнездом ястреба на макушке, обомшелый валун — точно зверь на лежке... Все это он и прежде видел множество раз, но тогда не испытывал и малой доли того волнения, как теперь.

Из кустов смотрел на глинистый откос — там по-прежнему четко выделялся нарисованный олень. Можно соскоблить рисунок, прийти к родичам и объявить, что выздоровел. И никогда больше не искушаться, забыть про все, что ему грезится. Его бы с радостью приняли: каждый здоровый охотник нужен племени. Это вернуло бы ему все права, какими он пользовался, живя в пещере. Он всегда был бы сыт наравне с другими, не нужно было бы самому заботиться обо всем: и о том, как сохранить и поддерживать огонь, как обезопасить жилище, и о многом, многом другом. И главное, одиночество не мучило бы его больше.

Чтобы возвратить эти блага, требовалось немного: сказать, что оленя на глиняной стене нет, признать, будто у него, у Пира, было временное затмение рассудка. Солгать.

Но олень был! И хоть от него не пахло ни мясом, ни потом — олень этот представлялся Пиру нужным даже больше, чем настоящий. Почему он был уверен в этом, Пир не смог бы растолковать.

Мужчины уходили на охоту — у каждого был свой излюбленный надел. Так, с молчаливого согласия, никто не появлялся в угодьях, отданных Пиру. Одна из собак учуяла Пира, но узнала его и не подняла тревоги. Женщины и дети разбредались невдалеке, собирали топливо, искали грибы. Пир крался за ними. Нужно было выждать, когда Ми удалится от других.

Неожиданный порыв ветра выдал его. Ми подняла голову, широкими ноздрями втянула воздух, ее рука нашарила суковатую палку, острые глаза остановились на дереве, за которым притаился Пир. Оба вы-

жидали. Но ему уже стало ясно: затея провалилась. Теперь ему не справиться с Ми. Он показался из засады, она узнала его, и глаза ее радостно вспыхнули.

— Я думала, медведь.

— Не бойся, я не дам тебя в обиду.— Пиру вдруг стало стыдно за свой коварный замысел: ведь он хотел напасть на нее сзади, как на зверя.— Я справлюсь с медведем. Это неправда, будто я больной — я здоров.

— Знаю. Я ведь тоже вижу твоего оленя. Всякий раз, когда иду мимо, смотрю на него. Кроме нас с Эдом, многие видят, но не признаются. Вождь сказал: «Никакого оленя нет — есть глина». А кто станет говорить про оленя, того он заставит есть глину вместо мяса. Ты пришел посмотреть на оленя?

— Нет. Я хотел украсть тебя,— признался он.

— Украсть?— насторожилась она.

— Я хотел, чтобы ты жила со мной, чтобы было кому поддерживать огонь в пещере, когда я ухожу на охоту. Я уже давно не ел мяса.

Глаза Ми совсем сузились, в продолговатых щелках искрились темные зрачки в почти не различимом сейчас коричневом обводе.

— Не нужно меня воровать. Я пойду с тобой.

До встретил их у пещеры. Он было заворчал на Ми, но узнал знакомый запах и успокоился.

Ми начала хозяйничать у очага, раздула тлеющие угли, подложила дров. Никаких запасов у Пира не было. Они пожевали немного грибов и кореньев, которые принесла Ми. Пир стал собираться на охоту. До чутьем угадал перемену, возбужденно и радостно повизгивал, прыгая вокруг молодого охотника.

На третий день они загнали оленя. Ми тоже не сидела без дела: добрая половина грота была завалена дровами, множество грибов было разложено вблизи пещеры на камнях, чтобы просушивались на солнце. Тратить время на отдых они не могли: по ночам начинались заморозки, нужно было запастись продовольствием.

Все эти дни Пир был настороже: вот-вот могли появиться родичи и потребовать возвращения Ми.

Пришли четверо воинов и вождь. Пир загодя натаскал в грот камней, припас дубинок — пусть сунутся. Пятеро соплеменников стояли внизу на открытом месте. Видимо, они рассчитывали на благоразумие Пира, надеялись, что обойдется без драки.

— Мы знаем, женщина с тобой,— сказал вождь.

— Ми здесь.

— Она должна вернуться с нами. Ты отпустишь ее.

— Женщина останется со мной.

— Ты подчинишься или мы убьем тебя.— Вождь поднял над головой дубинку.

— Я буду защищаться.

Пятеро смотрели на узкий карниз, по которому им предстояло ка-

Ми выглянула из-за плеча Пира.

рабкаться, чтобы проникнуть в убежище Пира.

— Беги от него, он не посмеет тронуть,— позвали они.

— Я останусь. Мне хорошо с ним. Если вы захотите убить его, я буду драться против вас.

Это были не пустые слова: в руках у Ми была дубинка. Вождь озадачился. Воины и вовсе не хотели рисковать: у Ми и Пира было преимущество — они будут кидать камни сверху.

— Женщина останется со мной,— убеждал Пир, уловив нерешительность.— Без нее я не проживу: кто-то должен поддерживать огонь, когда я охочусь.

— Он прав,— сказал один из воинов.— Другого выхода у него нет — он будет драться насмерть. А зачем нам непременно нужна Ми? Разве у нас мало других женщин?

— Хорошо, — согласился вождь. — Мы оставим тебе ее, но ты уже никогда не вернешься в племя.

Их шаги стали неслышны. Ми возвратилась в грот. Пир подсел к огню рядом с нею. Руки Ми были заняты работой — она выделывала шкуру. Отсветы пламени скользили по ее плечам. И опять на него повеяло мучительными запахами, памятными с детства. Только теперь эти запахи не вызывали тоски. Они напоминали, что ему нельзя засиживаться в тепле и уюте пещеры: нужно заготовить много еды. Зима сурова, дни станут короткими, охотиться в лютые морозы нелегко. Ночью застойная вода между валунами покрылась тонким льдом. Еще не рассвело, когда Пир отправился на охоту.

Ми нагребла угли и золу, собралась идти за грибами, но ее чуткий слух уловил чьи-то шаги. Она взяла дубинку и притаилась у входа: не соплеменники ли явились за нею, выждав, когда она останется одна? Но это был Пир. Он на плече тащил огромную рыбину, пропустив сквозь жабры палку. Чешуйчатый хвост волочился по камням.

Ми отложила дубинку. Пир бросил добычу у костра.

— У нас будет много рыбы,— сказал он. Пир случайно наткнулся на заводь, отрезанную от главного русла реки. Рыба зашла в нее в паводок и очутилась в ловушке.

Ми осталась выуживать рыбу. Большие, как колодины, лососи кишмя кишели в прозрачной воде. Добыть их не трудно было. Они станут хорошей добавкой к мясу, которое принесет Пир.

Пиру посчастливилось загнать самого крупного оленя из тех, какие водились в этих местах. Понадобилось четыре раза сходить, чтобы перетаскать тушу. Шкура тоже была кстати — ее хватит укрываться обоим.

Возвращаясь в темноте, Пир издалека замечал свет костра в пещере. Он походил на звезду.

Странные мысли часто возникали у Пира, когда он возвращался с

охоты. Ему интересно было знать: откуда у него появляются свежие силы, стоит ему подумать о жарком костре и о Ми, которая ждет его? Почему звери боятся огня? Только одни собаки могут греться возле костра вместе с людьми. Еще он думал о том, что весной нужно будет сманить к себе нескольких щенков и вырастить их. Пусть плодятся. До поможет ему натаскать их на оленей, и они станут хорошими помощниками.

* * *

— Надо полагать, для обрядов,— высказал свое мнение Моторин.— Прежде чем идти на охоту, шаманы или жрецы племени (или как там они у них назывались?) совершали молитвенный обряд, вымаливая удачу.

— Возможно...— Игумнов в свете костра внимательно разглядывал стены грота: не так-то просто было составить план. Другое дело, если бы речь шла о документации геологического обнажения, тогда бы он чувствовал себя в своей тарелке.— Но ведь прежде чем прийти к мысли совершать молитвенные обряды, кто-то должен был нарисовать первого оленя.

— Извечный вопрос: все сводится к тому, что было вначале?— Моторин заглянул в чистый лист, который держал старший геолог, словно рассчитывал прочитать там ответ.

— Вот именно, что было вначале?

— Жратва,— вставил Степан.

— Это само собою,— Игумнов очень серьезно взглянул на оператора.— Чтобы высекать рисунки в этакой стенке, нужно сильную руку. Художник должен быть атлетом и, конечно, сытым атлетом.

— Но если этот первый олень не был нужен ни для чего, то и вовсе непонятно, зачем понадобилось его высекать на скале?— возвратился Моторин к своему рассуждению.— Не могло же племя позволить сильному, здоровому охотнику так нерационально расходовать труд ни для чего.

— Так мы можем препираться до бесконечности.— Игумнов начал растягивать рулетку. Гибкая металлическая тесьма мерной ленты тихонько позванивала.— Собственно, мы в тупике. С одной стороны, признаем: для того, чтобы совершить обряд, племени нужен был идол — высеченный олень, а с другой стороны, не сомневаемся: чтобы кто-то нарисовал первого оленя, необходимо, чтобы он уже был нужен.

— А как же вы предлагаете поставить вопрос?

— В этом-то и задача.

— А может быть, нашелся чудак, который нарисовал оленя просто так, по вдохновению,— высказал предположение Ильин.

— Чепуха,— не согласился Моторин.

— Как знать.— Игумнов подал Степану конец ленты.— Вначале обмеряем переднюю стенку и вход.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На редкость злая зима стояла в этом году. Снег закрыл горы, засыпал каменистые лощины. Из ущелья тянуло холодом, морозный воздух проникал в грот. Они изводили прорву дров, но тепло держалось только вблизи костра, пока горел яркий огонь. Не согревали и оленьи шкуры, которыми они укрывались. Пес, и тот жался поближе к огню. Они давно собрали все поваленные деревья, какие были в округе, за топливом приходилось ходить на другой берег реки. На охоту не оставалось времени, короткого дня едва хватало, чтобы заготовить дров. Запасы пищи подходили к концу.

Чтобы не бездельничать в морозы, Пир еще до снега натаскал в пещеру много добрых и крепких камней — они часто попадались в русле реки; глаз на пригодные камни у него был наметан. Долгими вечерами, сидя у огня, Пир внимательно рассматривал каждый из обломков, отыскивая скрытые следы трещин, по которым можно расколоть камень. Удачные осколки покрупнее годились на топор, мелкие шли на выделку наконечников к стрелам.

Он любил смотреть на мерцающие звезды. Не такие же ли это пещеры, в которых горят костры, и возле них коротают зиму люди, занятые мелкой работой, как и они? Возможно, кто-нибудь из них глядит оттуда на огонек их костра. Если прищурить глаза, можно увидеть тонкие лучики, которыми звезды соединяются друг с другом, образуя множество причудливых фигур. Они что-то смутно напоминали Пиру, волновали его. Он подозвал Ми и показал ей на небо.

— Олень!

Ми долго смотрела на звезды, но ничего не увидела.

— Это небесные огни. Там не может быть оленя.

А Пир каждую ночь отыскивал своего оленя и потом уже не удивлялся, когда обнаружил еще собаку, медведя, зайца...

Однажды он не вытерпел и головешкой начертил на стене пещеры своего оленя. У него получилось сразу, будто рука сама хранила в памяти расположение линий. Несколько дней олень хорошо был заметен на известковой стене, и Ми тоже видела его, и глаза ее радостно вспыхивали всякий раз, когда она глядела на стену. Потом копоть от костра стушевала рисунок. Пиру пришло в голову высечь оленя рубилом, по тем же линиям, которые были начерчены углем. Их не везде было видно, но они и не нужны были Пиру.

Съели последнюю рыбу. От оленя, высеченного в камне, не было никакого проку. Пир и До вышли на охоту. Они напрасно прорыскали целый день. Добыли всего лишь зайца.

Подряд шли неудачные дни: Пир возвращался с пустыми руками. Спали у костра под шкурами, прижавшись друг к другу, но были голодны и не могли согреться.

И все же Пир ночами продолжал высекать оленя в каменной стене. Наконец он вырубил последнюю борозду. Утром Ми увидела рисунок. Она обрадовалась, но ненадолго. Голод был мучительным.

Ночью Пир слышал, как Ми двигает голодными челюстями, мучается и стонет от того, что не может насытиться пищей, которая только воображается ей.

До снова отбился от рук, стал промышлять в одиночку. Ему удавалось настигать зайцев. Пир узнавал это по его помету, в котором встречались непереваренные кусочки кожи и шерсти.

Пир хорошо знал петлистые следы длинноухих зверьков. У них были свои излюбленные тропы. Никто из охотников племени всерьез не занимался такой мелкой дичью — только подростки: бывало, сам заяц им под руку подвернется, так станет добычей. Но сейчас Пир был бы счастлив, добудь он хоть одного такого зверька. От голоду он совсем изнемогал. Но зайцы были проворны и быстры. За одним Пир долго, но безуспешно гонялся. Заяц легко прыгал по насту там, где охотник проваливался по пояс. Все же он подстрелил одного из лука.

Возвращался в пещеру, волоча убитого зайца за длинные лапы. Тушка быстро проморозилась насквозь и, когда задевала о землю, стучала, как деревяшка.

Пир еле удерживался от желания немедленно разодрать добытого зайца и съесть. От истощения у него кружилась голова. Он оступился в глубокий снег — и во весь рост растянулся, увязнув руками в сугробе. Долго лежал не двигаясь.

С усилием высвободил ногу — она была зажата между тугими ветвями стелющихся кустов. Смутная мысль мелькнула в голове Пира — что-то очень важное; но от голода и усталости он не смог думать.

Ми тоже возвратилась в пещеру не с пустыми руками: выследила беличью нору и разорила дупло. Не велика добыча, но все же подспорье. Орехи были на подбор ядреные, ни одного гнилого. Она просушила их у огня. Когда возвратился Пир, Ми протянула ему горсть пахнущих смолью и маслом орехов. Пир отдал ей в руки закоченевшую тушку зайца.

В этот раз у них был вкусный ужин. Только пищи было все-таки мало на двоих. Ночью Пир снова испытывал мучительный голод и опять гонялся за длинноухим зверьком, который петлял в кустах, легко увертываясь от охотника. Пир никак не мог настигнуть зайца. Ему не повезло и во сне: он опять провалился в снег, и нога завязла между ветками стланика.

Проснулся лихорадочно возбужденный. Мысль, которую он не смог додумать накануне, прогнала его сон. Костер совсем зачах. Ми крепко спала, почти вплотную придвинувшись к дотлевающим угольям. Пир подложил дров, но он помнил: нужно немедленно проверить догадку. Он забыл и про голод, и про усталость.

Заготовленные впрок сухожилия — мало ли зачем они могли понадобиться: на тетиву для лука или на подвязки к обуви — хранились в

дальнем углу пещеры в нише наверху, чтобы До не соблазнился ими и не сгрыз. Пир принес их к огню. Нужно было неторопливо отогреть их на несильном жару — иначе они могут покоробиться, станут ломкими. Ему не сразу удалось сделать надежную петлю.

Ми проснулась и лежа наблюдала, чем это занят Пир.

— Ты голоден, и оттого тебе не спится,— сказала она.— У нас осталось немного орехов — поешь.

Пир улыбнулся ей и покачал головой.

— Почему у тебя так блестят глаза, будто ты досыта наелся мяса? — допытывалась Ми.— Нам остается только съесть его.— Ми осторожно кивнула на До, спящего по другую сторону костра.

— Нет. Он еще пригодится нам, когда наступят теплые дни и можно будет снова надолго уходить из пещеры охотиться. Я знаю, как можно добыть мясо.

Весь день Пир отыскивал звериные тропы и расставлял петли. Вечером снова обошел их. В одном силке оказался пойманный заяц.

Войдя в пещеру, он положил к ногам Ми добытую тушку.

— Теперь у нас будет мясо каждый день.

* * *

Давно смерклось. Дождь барабанил по камням в одном ритме будто зарядил навечно.

Игумнов при свете костра заканчивал чертежи. На схеме были обозначены положения древних рисунков, и все они были пронумерованы по часовой стрелке от входа в грот. В примечаниях каждому было дано название: «Бегущий олень», «Олень с наклоненной головой», «Олень стремительный»... И только про рисунок на дальней стене было сказано: «Набросок».

На ужин довольствовались пустым кипятком.

— Хоть кишки прогреем,— сказал Степан, разливая из котелка по кружкам.

— И надо же было мне не взять фотоаппарат,— посетовал геофизик.— Испугался лишнего груза.

— Все равно снимки не получились бы. Темно.

Мрак загустел в дальних углах пещеры; неровная ниша входа глубинным провалом черноты зияла в известковой стене грота. Яростным жаром пылали раскаленные угли и прогретые камни вблизи костра. Маршрутчики сидели вокруг очага, их обнаженные тела — все трое разделись до пояса — светились в потухающем пламени. Игумнов с бряком опрокинул пустую кружку на выступающую из земляного пола каменную плиту. Слой отвердевшей глины, смешанный с пеплом и мусором, покрывал пещеру. Игумнов давно боролся с желанием поковыряться в нем—здесь могли оказаться оружие и предметы быта древних обитателей пещеры. Но лучше было не трогать: если находкой заинтересуются археологи, раскопками займутся специалисты. Геологи могли только на-

вредить им. А все же к плану грота, составленному ими, не лишне было прибавить хоть один осколок камня, отесанного руками человека — вещественные доказательства всегда кажутся более убедительными.

Но были и другие заботы, более неотложные. Сразу не подумали запасти дров на всю ночь — теперь придется шарить по мокрым глыбам в темноте. При одной мысли о том, что придется вылезать из тепла, становилось не по себе. Но тянуть дальше было нельзя.

— Иначе к утру дуба дадим,— высказал общее мнение Степан Ильин. Он один рискнул вылезть под дождь раздетым, в трусах и в ботинках на босу ногу.

Невдалеке на склоне стояло несколько сушин. Игумнов приметил их еще днем мимоходом, по привычке замечать все, что может понадобиться на случай ночевки. Кроме них, там и сям среди камней извивались понизу клубки мертвых веток стланика, они легко выдирались вместе с корнем. Сушины срубили топориком. Металл звенел, ударяясь о сухую и твердую древесину,— ливень не смог ее промочить.

Ветвистые и горбатые стволы, пружинистые скрутки толстых веток стланикового сушняка загромоздили половину грота. Зато дров наверняка теперь хватит на всю ночь.

Снова нужно было сушить одежду и отогреваться. Руки окоченели так, что пальцы едва гнулись.

— Вот вам и июль!— сказал Моторин.— Воспаление легких можно схватить.

— Отогреемся,— успокоил его Игумнов.

Стланиковые ветки трещали особенно весело и озорно постреливали угольками — иные вылетали со свистом, как пули.

— М-да,— произнес геофизик, мокрой рубахой защищаясь от жара. От рубахи валил пар.— Я все про этих,— пояснил он, кивая головой на разрисованные стены.— Каково им тут жилось.

— Так же, как и нам сейчас: грели свои пустые животы у костра и мечтали о лучшем будущем. Может быть, в отдаленной перспективе им даже грезилась наша светлая эра,— сказал Степан.

— Любой из нас, оставь его здесь одного на зиму, околел бы в первую неделю.

— Так уж и в первую неделю!— заспорил Ильин.—Месяц проживу, копыт не откину — ручаюсь. А неделю-то приходилось.

— Это где же так было?— иронически глядя на оператора, усомнился Игумнов.

— Иван Николаевич, вы будто уже и не помните. В прошлом году— октябрь на носу, снег валит, вертолет никак не пробьется, свои олени были — поразбежались по тайге, а нас четверо. Последнюю банку сгущенного молока высосали...

— Так, так,— перебил его старший геолог.— Давай считать, коли на то пошло. Палатка у вас была?— он повернулся спиной к пламени и, глядя в лицо Степану, загнул на своей руке один палец.

— Ну, положим, этот грот ничем не хуже палатки. Даже получше,— возразил Степан.

— Хорошо, согласен. Спички у нас были?

— Огонь можно поддерживать.

— Топор, пила — были?

— Ну это, конечно... В крайнем случае, обошлись бы и без топора — сушняку наломали бы.

— Спальные мешки были?

— Спали бы на шкурах. Убили бы парочку изюбров — карабин у нас был...

— Вот-вот: карабин!

— Смастерили бы луки, пращу...

— Одежда была?

— Много ли в тайге нужно — не на танцы. Сшил бы себе трусики из заячьих шкурок.

— На чем бы они у тебя держались? Резинку бы где взял?

Степан поднял руки вверх.

— Сдаюсь. Резинкой вы меня доконали.

— И в самом деле,— произнес Моторин,— трудностей всяческих им не у нас занимать — своих хватало. А находили время пустяками заниматься, рисовать...

— Ну, это ведь по нашим представлениям у них была не жизнь, а каторга,— возразил Игумнов.— Сами-то они так не считали. Уверен, что у них находилось время для развлечений и для игр.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Хоть и не всегда досыта, мясо у них теперь было. С каждым разом Пир совершенствовал ловушки, выбирал более удачные места на тропе. Учился прятать петли, чтобы зверек ничего не заподозрил и не учуял. После оленины зайчатина казалась пресной и не такой сытной, но все же это было мясо. Даже и собаке немного перепадало от их стола. Да еще немного промышляла Ми — отыскивала беличьи дупла. Случайно она наткнулась на погребенные, поваленные снегом стелющиеся кусты, на которых было множество нетронутых шишек. Хоть и скудная пища, зато всегда под рукою. Казалось, и мороз смилостивился — днем понемногу начало пригревать. И хотя до конца зимы было еще долго, лица Ми и Пира потеплели.

Ясно уже было: первая зима окончится для них благополучно. А ко второй они сумеют приготовиться лучше.

Правда, и забот тоже прибавится: будет ребенок.

Пока еще ничего не было заметно, но Ми уже знала и томилась ожиданием и предчувствием. Лицо ее выражало озабоченность, но стало как будто мягче. Пир завороженно смотрел на живот и бедра Ми, будто хотел разглядеть, как в ее теле зреет новая жизнь.

Ночами он по-прежнему урывал немного времени и высекал на дру-

гой стене нового оленя. Без этого он уже не мог обойтись. Если рука его долго не держала каменного рубила, он мучился, и пальцы ощущали нетерпеливый зуд. Он с удивлением рассматривал задубленную кожу собственных ладоней, заживленные ссадины и борозды и неизменную паутину тонких линий, которые достались ему от рождения.

Умение обрабатывать камни, изготовлять ножи, топоры и наконечники к стрелам он перенял у Тао. Правда, сложному мастерству Тао обучал всех подростков племени, но отчего-то навыками старого искусника вполне овладел только Пир, может быть, именно потому, что делал всегда по-своему, а другие только усваивали отработанные стариком приемы ремесла. Но, правда, руки ему достались особенные — все схватывали на лету, и не могли обходиться без дела: просто зудеть начинали, если он долго не прикасался к рубилу и камню.

Ему безразлично было, что делать: обрабатывать каменный топор или высекать строгие линии на стене пещеры. Больше того, бесполезное занятие — рисовать оленя — сильнее влекло его. Восторг, который охватывал его, когда на серой известковой поверхности возникала настороженная голова животного, прибавлял ему силы, хоть в животе урчало от голода.

Просыпалась Ми. Ее глаза, впалые от худобы, еле светились, как потухающие угли. Она молча наблюдала за работой Пира. Он откладывал рубило и уходил в лес добывать мясо.

Новый олень на стене грота был более грузным, словно отяжелевшим в конце сытой осени, когда еще не наступила изматывающая пора гона. Вот такого бы оленя им и добыть сейчас — можно было бы растянуть мясо до тепла. У третьего оленя, нарисованного Пиром, больше было стремительности — он весь был заряжен ею. В гордом изгибе поднятой шеи — нетерпеливость бойца. Пир самого себя ощущал таким, когда теплые ветры в середине дня приносили невесть откуда нервозные, буйные запахи наступающей весны. Она приходила из-за гор. Половодьем обрушивалась в долину и снова уходила в горы, слизывая со склонов снежные языки. Вскрылась река. Только у затененных скал глыбились припаи синего льда. Ранняя зелень пробивалась сквозь сухую прошлогоднюю ветошь. А на озерах — их круглые зрачки были раскиданы по всей долине — еще ослепительно голубел лед. Только он уже не был прочным: стоило на него наступить, рассыпался на звонкие хрустальные иглы. Вдоль берега появились пропарины.

Здесь Пир случайно наткнулся на легкую добычу. По отмели на берегу густая трава поднималась над водой. Днем большие зубастые рыбины подплывали из-подо льда, заплывали в прогретую воду. Пир обнаружил их по шевелящейся траве. Подстеречь и оглушить щуку оказалось нехитрым делом.

Это было тем более кстати, что зайцы перестали попадаться в петли.

Пир решил сходить за щенками. В эту пору всегда бывала прибыль. Он взял с собой несколько наконечников и новый топор, чтобы выменять на хороших щенков.

Негустая дымка молодой зелени долго заслоняла от него глиняную стену — мелькнет в просветах серый борт и опять заслонится ветками. Пир никак не мог разглядеть, цел ли его олень. Наконец, вышел на опушку. И сразу увидел оленя. Он сильно пострадал. Талые воды подмыли крутояр, кой-где глина отвалилась пластом. Но все же олень был хорошо заметен. Кто-то даже провел линию по свежему слою. Только рука у того, кто рисовал, была не так тверда и глаз не совсем точен. Пиру стало жаль своего изуродованного оленя. Лучше бы уже и не притрагивались. Впрочем, исправить можно: соскоблить чужое и дорисовать самому.

Пир не сразу увидел внизу группу молодых охотников. Они готовились что-то делать. Один из охотников отделился, отошел подальше и с разбегу с силой метнул копье. Оно вонзилось в бок глиняного оленя и повисло. Вторым попытать меткость и силу руки взялся Эд.

Раздвигая ветви, Пир вышел на тропу, опавшие сучья постреливали под его ногами. Молодые охотники всполошились. Пир удивился: неужели подозрительный шорох способен напугать стольких молодых мужчин?

Эд узнал Пира, и все успокоились.

— Мы думали, вождь или кто из стариков. Нам запретили бросать копья в нарисованного оленя. Говорят: бесполезное занятие. А нам нравится.

Пир взял копье и долго разглядывал наконечник. Этот был сработан еще его руками.

— Я пришел, чтобы выменять у вас щенков.—Он выложил свои богатства.— И еще, чтобы научить вас ставить петли на зайцев. Их могут изготовить женщины и дети — совсем просто.

— Не попадайся на глаза старикам. Вождь приказал, если ты появишься, убить. Он считает, что ты заразил всех. Теперь уже каждый видит оленя, только не все осмеливаются признаться. Но скоро все изменится: Ясу одряхлел, его сменит Фу, и тогда ты снова возвратишься и нарисуешь нам нового оленя.

Ми по-прежнему заготовляла дрова, отыскивала съедобные коренья, собирала вытаявшую из-под снега прошлогоднюю ягоду. Пир старался быть невдалеке, всегда готовый защитить ее. Он не знал, какая опасность может угрожать ей именно теперь, но тревожный и смутный голос природы велел ему быть возле нее. Слух и зрение его были обострены как никогда. Ему необходимо было постоянно видеть Ми, ее раздавшееся вширь тело, перепоясанное по-летнему коротким обрывком шкуры. Крохотное существо, чья жизнь созревала в чреве Ми, до своего появления направляло помыслы Пира. Натаскал сухих стволов, отгородил невдалеке от очага площадку — здесь малыш будет учиться ползать. Насобирал множество сухих гнилушек — сгодятся на подстилку, чтобы постель ребенка всегда была сухой: гнилушки впитают влагу,

их нужно будет чаще менять. На трех подрастающих щенков он смотрел, как на будущих друзей и защитников ребенка. У Ми чуть отяжелела походка, сама она огрузла, сильнее выступили скулы, лицо стало озабоченным, взгляд настороженным.

Подошел срок. Ми ничего не сказала ему, он понял сам. В этот день она никуда не пошла из грота. Запас мяса у них был. Пир занимался мелкой работой поблизости от пещеры. Обычно в племени вблизи роженицы всегда находилась старшая и опытная женщина. Но бежать за помощью к родичам было уже поздно.

Пир смотрел как трое щенков играют с До. Пес позволял им ползать через себя, делал вид, что злится и слегка кусал их. Казалось, будто он стеснялся Пира, не давал себе воли расшалиться.

Не то глубокий стон, не то зов послышался из пещеры. Даже щенки притихли. До навострил уши и повел носом. Пир вбежал по отвесу. Ми скорчилась невдалеке от костра, сквозь стиснутые зубы тихонько стонала. Он на корточках присел рядом. Она не прогнала его. Он взял ее руку. Ми до боли стиснула его пальцы. Несколько времени он просидел так, через соединенные руки ощущая каждый новый толчок боли в ее теле. Раскаленные угли, не давая пламени, распространяли вокруг сухое тепло.

Все кончилось. Он взял в свои ладони теплое орущее и влажное существо. Жар и трепет чужой жизни пронзили его. Ми повелительно протянула руки и он возвратил ей ребенка. Она лежала на шкуре, прижав его к груди. Тот постепенно затих, слышно было только как почмокивал.

Уже через день Пир отправился на охоту, а Ми занялась обычными делами. Маленький Фэт был с нею, шкурой притянутый к груди — Ми только одной рукой придерживала его. Круглыми глазами он неосмысленно глядел на мир, где ему предстояло жить.

Когда он подрос, Ми стала носить его за спиной. Иногда Пир даже завидовал ему: сейчас Фэт проникался тем самым чувством, которое смутно запомнилось Пиру от детской поры. Малыш отнимал все внимание Ми. На время Пир и До стали просто подсобными работниками у нее. Она властно распоряжалась обоими. Пиру в награду разрешалось ненадолго брать малыша на руки. До боялся приблизиться к малышу. Хлесткий взгляд Ми останавливал его. Собаке не разрешалось даже заходить в грот, и До безропотно подчинился этому, покоряясь силе материнского чувства, которое владело Ми. Но однажды малыш сам приполз к До. Тот поджал хвост, весь подобрался, готовый к бегству, если Ми прикрикнет на него. Но она молчала. Фэт запустил пальцы в шерсть собаки и вскарабкался на нее. До покорно стерпел. С этих пор между ними установилось согласие.

Несколько молодых охотников во главе с Эдом пришло проведать семью изгнанника. Пир и Ми позвали их в грот. Все молчаливо сидели у костра, на котором готовилось мясо. Охотники заметили оленей, вы-

сеченных Пиром на стене. Он ревниво наблюдал за их лицами и остался доволен: судя по восхищенному блеску глаз, рисунки понравились всем. Он даже не знал до этого, как необходимо ему вот такое молчаливое одобрение других. Теперь уже голодные ночи, проведенные за тяжелым трудом, не казались напрасными — эти люди навсегда запомнят его оленей. Только это и нужно было ему.

— Осталось совсем немного ждать. Скоро вы возвратитесь к нам,— пообещал Эд на прощание.— Нужно будет и у нас в пещере высечь такого же оленя.

* * *

Не спалось. К ночи они подготовились неплохо: наломали стланиковых веток и высушили их у костра. Густая длинноигольчатая хвоя — хорошая подстилка. У каждого в рюкзаке был брезентовый чехол от спальника. К ночевкам у костра геологи привычны.

Но сегодня натощак не спалось.

— А мы так и не решили: в чем ценность наскальных рисунков?— напомнил Моторин.

— Да ни в чем,— решительно высказался Ильин.— Помню, в школе наш историк говорил: всякие древние находки нужны, чтобы представлять себе, как жили люди в прошлом. Ну, представили. И что?

Некоторое время в гроте было тихо, слышался только равномерный шум дождя, да хрустели и шуршали обсохшие ветки под Игумновым — он, не вылезая из чехла, сел, выставив запеленатые в брезент ноги на свет костра. Должно быть, собирался возразить Степану, но тот опередил:

— Не подумайте, Иван Николаевич, что я такой уж ко всему безразличный. Честно. Даже и представить себе, как жили тогда,— и то интересно. Но одного этого мало. Наверно, в чем-то еще должна быть ценность всяких древностей?

— Наверно, есть особое мастерство в том, как они выполнены,— предположил Моторин.

— А по-моему рисунки первобытного человека ценны не мастерством,— не согласился Игумнов.— Нынешние живописцы более искусны: сейчас даже посредственные художники нарисуют то же самое гораздо лучше. Если бы произведения ценились за одно мастерство, тогда подражатели всегда одерживали бы верх над теми, кто ищет, а копии ценились бы наравне с подлинниками, а то и выше. Значение этих вот рисунков особое: они обогатили человека может быть больше, чем все полотна прославленных живописцев, скажем, эпохи Возрождения или нашего времени. Здесь истоки осмысления окружающего мира, отсюда развились все искусства. И не одни искусства, а и науки.

— Ну, это вы уже хватили через край,— Моторин не мог скрыть иронической нотки.— Какое отношение к наукам могут иметь эти примитивы? Этак вы объявите, что детский сад, где ребенок учится мале-

вать кривоногих человечков, больше дает образования, чем институт, где человек постигает интегральное исчисление и теорию поля.

— Именно! Это я и хотел сказать. Не только институт, но даже кандидатская и докторская диссертации, вместе взятые, не смогут выправить положение, если было что-то самое важное упущено в детском саду. А здесь, в пещерах, все человечество находилось в детском саду. Вы даже не подозреваете, какую верную мысль высказали: именно так и происходит из века в век, из поколения в поколение — каждый человек повторяет путь, пройденный человечеством.

— Это все общие слова. Вы скажите, чем науки обязаны вот этому? — настаивал Моторин, с какою-то непонятной обидой тыча пальцем в стену, где виднелось изображение оленя.

— Вы не станете возражать, что не будь элементарных арифметики и геометрии, не было бы ни алгебры, ни дифференциального исчисления, ни аналитической геометрии, ни топологии, ни кибернетики...

— Не стану. Но ведь элементарная геометрия и арифметика не наскальные рисунки. Вы обещали указать на связь между рисунками и науками, а сами ссылаетесь на науки же.

— Хорошо. Не берусь рассуждать о связи между всеми науками — только о геометрии и астрономии. Связь этих наук с первыми рисунками древнего человека кажется мне несомненной. Различие между науками простыми и более сложными — между арифметикой и алгеброй или геометрией и топологией — состоит главным образом в степени отвлечённости от конкретных предметов: штук, килограммов, метров... Нужны были многие тысячелетия, чтобы человек приучился вести счет различных предметов абстрактными числами. Десять камней и десять деревьев это ведь не одно и то же, но в арифметике и то и другое может быть обозначено одинаковым числом. А в алгебре следующая ступень абстрагирования — уже и самые числа, возможно стало обозначать символами-значками: икс, игрек, зет...

— Против того, что науки развивались от простых к сложным, никто не спорит. Но где же обещанная зависимость геометрии от рисунков?

— В любом школьном учебнике можно прочитать, что геометрия появилась в Древнем Египте. После весенних половодий Нила приходилось ежегодно заново устанавливать границы земельных участков. Отсюда и название: геометрия — землемерие. Но ведь прежде чем изобразить участок поля, пашни на чертеже — не важно на папирусе или на ватмане — нужно было уметь отвлечься от сути поля, как земли возделанной или невозделанной, плодородной или неплодородной, представить этот участок абстрактно. А разве не этого же самого достиг первый художник, разглядев в сочетании простых линий своего оленя, бизона, мамонта? Потребовались тысячи лет, чтобы в сознании прочно закрепилась связь между предметом и его изображением. После этого перенести на чертеж контуры поля было уже проще. А когда эти линии, сорванные от предметной сути, возникли на папирусе, с ними уже можно стало производить различные операции: складывать, вычитать, делить...

— Если признать в этом резон, получается, что искусства вы ставите выше наук? По-вашему, вначале были искусства, а потом уже науки?

— Не все ли равно, что было раньше. А скорее всего и то и другое начиналось одновременно. Свои знания и средства познавать мир человек разделил на науки и искусства много позднее. В чем я совершенно уверен, так это в том, что первым художником и первым ваятелем мог стать мастер, который искуснее других выделывал каменный топор и наконечники стрел,— нужно, чтобы рука умела ощущать предмет и видеть форму там, где ее еще нет.

Игумнов подложил в костер и пошуровал нагоревшие угли геологическим молотком, как кочергой — взметнулось пламя и посыпались искры. Ильин и Моторин отпрянули от огня.

— А ведь там не наброски!— воскликнул геолог, показывая на дальнюю стену грота.— Один рисунок высечен поверх другого.

Все трое вылезли из чехлов и, светя себе головнями, приблизились к дальней стене пещеры. В самом деле: на известняке были изображены два оленя — один рисунок перекрывал другой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В конце лета возвратился Сул. Он был в числе немногих охотников, которые две зимы назад отважились перевалить горы. Их никто не ждал, считали погибшими.

— Земля кончается за горами,— уверял Тэт-он, самый мудрый и старый из хранителей огня.

Но вот появился Сул. Он пришел не один, привел женщину из чужого племени. По словам Сула, то племя было многочисленным и обитало на обширной равнине, у которой нет края. Племя говорило на другом языке. Сул выучился этому языку. Люди племени промышляют охотой. Они не знают ни лука, ни стрел, зато умеют копать в земле ловушки, в которые загоняют зверей.

Самое невероятное, что рассказал Сул: будто на равнине водятся животные величиной с гору. Мясом одного убитого зверя может пропитаться все племя в течение долгого времени. И облаву на зверя устраивают всем племенем.

— Ничего этого не может быть. Ты лжец!— сказал Тэт-он.

И вождь племени Ун согласился с ним:

— Сул — лжец.

— Позади гор ничего нет, потому что за горами кончается земля,— продолжал Тэт-он.— Иначе зачем были бы нужны горы, если бы они не отделяли наш мир от другого мира, куда каждый уходит после смерти. Сул видел другой мир.

Объяснение шамана походило на правду.

— Не встретил ли ты кого-нибудь из умерших?— спрашивали у Сула.

— Там были такие же люди, как мы, только разговаривали по-своему,— уверял Сул.

Но ему не верили.

— Они и должны говорить по-другому — ведь это совсем другой мир,—объяснил Тэт-он, и с этим тоже нельзя было не согласиться.

— Но вот же Муна — она пришла со мной оттуда.

— Пусть уходит назад, откуда пришла.

От женщины в страхе шарахались.

— Назовись: кто ты? Как тебя звали, когда ты жила среди нас?— допытывались у Муны женщины посмелее.

Но, видимо, Муна не помнила своей прошлой жизни, никого не узнавала, и даже слова, обращенные к ней, понимала с трудом.

Надвигалась зима, а путь в страну теней был долгим и нелегким. Сулу и Муне разрешили остаться до весны. А чтобы от них не было порчи другим, Тэт-он сделал обряд очищения. Их поставили на колени лицом к стене пещеры, на которой был высечен Большой Олень. Головы посыпали пеплом и сухой глиной — нет ничего целебней пепла и глины, а пятки прижгли углями. Сулу запретили сочинять и рассказывать сказки про другую страну: каждый сам узнает, как там, когда придет его срок.

В своей жизни Тингл не помнит ничего занимательнее, чем история Сула и Муны. Целую зиму провели они в племени Большого Оленя. И хотя после обряда очищения можно было не опасаться беды, их все равно сторонились из осторожности, особенно Муны.

У Тингла были способные руки: никто не мог сравниться с ним в обработке камня. Лучшие топоры и наконечники к стрелам изготовлял он. Еще он умел рисовать — каменным острием вычерчивал оленя на костях. Его олени были похожи на Большого, который украшал обрядную стену. Да рисовать иначе не было никому позволено. На этот счет был непререкаемый закон. Тайком, для себя Тингл рисовал оленей иначе. И с ним ничего не случалось. Он все боялся, что у него начнут сохнуть руки, как обещал Тэт-он, но ничего не происходило, а руки его только крепли.

Тингл не однажды допытывался у старших: кто высек оленя на стене?

— Никто. Он всегда был. Разве может кто-нибудь из племени сделать такого оленя.

— Я бы смог.

За эти слова Тинглу надавали подзатыльников. Но подзатыльники были плохим доказательством. Тингл не верил ни старшим, ни Тэт-ону. Почему никто не мог высечь оленя, если он, Тингл, чувствовал в своих руках уверенность сделать оленя ничуть не хуже Большого? Даже лучше. Также не верил он и тому, что Сул пришел из страны теней, куда уходят и не возвращаются. Сул ничем не отличался от остальных, а умерших и погибших на охоте Тингл видел. Из них-то, конечно, ни один не возвратился.

Каждый взрослый охотник обучал кого-нибудь из подростков. Тингл попросился в подручные к Сулу.

Удача нескоро пришла к ним. Уже отощавшие от голода, они только на четвертый день загнали оленя. Они впервые заговорили, когда освежевали тушу, сами наелись и накормили двух собак, помогавшим им.

— Я не верю Тэт-ону,— сказал Тингл,— я верю тебе. За горами не страна теней, а большой мир. Когда я вырасту, я увижу его.

Сул положил на голову мальчика руку.

— Спасибо,— сказал он.— Человеку очень тяжело, когда ему не верят.

— Расскажи мне про ту страну, где живет племя Муны.

Сул рассказывал много. Он измучился молчанием. После того, как шаман запретил ему рассказывать про чужую страну, никто из соплеменников не решался заговорить с ним. Тингл был первым.

И мальчику тоже хорошо было с охотником. У Сула можно было спрашивать, о чем угодно, не рискуя получить шлепок или подзатыльник.

—Правда, что оленя никто не высекал на стене — он всегда был?

— Когда я был таким, как ты,— сказал Сул,— слепой Инг (он лишился глаз в схватке с рысью) рассказывал, будто давным-давно, неизвестно когда, в племени родился человек, который умел рисовать. И Большого Оленя высек он. С тех пор многие научились рисовать оленя. Но шаман сказал, что Инг лжет, и старика выгнали из пещеры. Он недолго прожил.

— Я бы сам смог высечь оленя. Только еще лучше, чем в пещере.

— Здесь недалеко есть малая пещера. О ней не все знают. Там много нарисованных оленей. Я уже был в ней, и со мной ничего не случилось. Если не боишься, я проведу тебя туда.

Весной Сул и Муна ушли в горы и не вернулись. В племени стали забывать про них.

Один тлько Тингл не забывал Сула. Помнил он и лицо чужестранки, озабоченное и скорбное. Женщины сторонились ее, она всегда была одинока, и это угнетало ее. Лицо ее просветлело только когда подошел срок возвращаться на родину. И хотя ей будет тяжело идти — вскоре она должна стать матерью — глаза Муны зажигались радостью всякий раз, когда она смотрела в сторону тяжелых скал, отгородивших Долину.

Однажды Тингл тайком начал обрабатывать податливый камень, из которого были сложены стены пещеры. Этот камень не годился на топор. Из-под рук Тингла появилась небольшая фигурка — он сам видел в ней женское тело, в котором созревала новая жизнь. Нос у Муны был крупнее, чем у женщин из племени Большого Оленя, и такой нос Тингл вытесал у своей каменной фигуры.

Он не слыхал рысьих шагов Тэт-она. Сухие и жилистые руки старого шамана вырвали у Тингла почти законченную фигуру. Тэт-он долго ее рассматривал и никак не мог взять в толк, что это изготовил Тингл.

Меньше всего это походило на топор. И может быть, все кончилось бы благополучно для Тингла, не окажись рядом подростка Ала.

— Женщина,— сказал он.— Та самая, узнал Ал, показывая пальцем на выступающий нос,— которая ушла туда, за горы.

* * *

— Еще и не ночь, только вечер: половина одиннадцатого,— сказал Моторин, с трудом разглядев при свете костра положение стрелок на своих часах.

— Жуть!— воскликнул Степан и скорчил страдальческую физиономию.—Целая ночь впереди! Мне от голода чертики начинают мерещиться.

— Отщипни крошку от своего энзе,— посоветовал Игумнов.

— От какого еще энзе?

— От плитки шоколада.

В начале сезона завхоз партии привез несколько плиток шоколада. Начальник разделил. Каждому досталось по полторы плитки. «Шоколад будет нашим энзе»,— объявил он.

— Вспомнили. Я тот шоколад проглотил в первом маршруте.

— Вот теперь и страдай поделом,— усмехнулся Иван Николаевич.— Ладно, ставь котелок с водой,— смилостивился он.

Глаза Степана вспыхнули, как у кошки.

— Богу буду на вас молиться. От голодной смерти спасаете.

Вода закипела мгновенно. Игумнов достал из сумки плитку шоколада. Она была помята и переломана на несколько рядов. Когда развернул фольгу, рассыпалась на мелкие крошки. Но все же это был шоколад.

— Теперь, когда наши желудки прогрелись чаем и насытились шоколадом, можно продолжить поиски истины,— шутливо предложил Моторин.— Кое к чему мы уже пришли: древняя наскальная живопись помогла человеку развить способность мыслить абстрактно.

Игумнов переместил дальше от костра свой брезентовый чехол — он уже накалился и обжигал руки, как листовое железо. Брезент весь был в звездочках — дырах, прожженных искрами. Не первую ночь приходилось геологу коротать у таежного костра!

Собственно, можно ли было назвать сегодняшний костер таежным? Может, пещерным?

— Значение искусства в сотворении человека таким, каким он стал, мне кажется огромным. И действие его не мгновенное: изобразил, дескать, то-то и то-то, зрители запечатлели и облагородились,— нет, искусство воздействует на человека сотни и тысячи лет, постепенно научая его чувствовать и мыслить иначе и глубже, чем он умел. Но самый первый и самый крупный вклад на этом пути был сделан еще здесь — в пещере первобытного человека.— Игумнов торжественно и значительно поднял руку и показал неразличимые сейчас стены грота, расписанные древним художником.—Отсюда пошло новое летоисчисление в истории

всего живого на земле — летоисчисление человеческой эры. Были и другие очень важные вехи в развитии человека: первый каменный топор, изготовленный рукой дикаря, приручение животных, освоение огня, первый колосок, выращенный человеком,— но для начала отсчета человеческой эры, я бы выбрал это,— он опять протянул руку в направлении высеченных рисунков.— Когда «не хлебом единым» стало для человека непременным условием жизни. Да, каменный топор, приручение животных, возделывание земли — дали больше, чем живопись, для того чтобы выжить.— Игумнов говорил громко, будто спорил с кем-то.— Но человек только тогда стал человеком, когда просто выжить для него стало мало.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Совет старейшин постановил изгнать Тингла из племени на один срок. Сроком считался период от начала лета до первого снега. Потом он может возвратиться в Большую Пещеру. Одиночество должно образумить еретика, он научится верить словам жреца и поймет, что удел каждого смертного, чьи руки постигли мастерство рисунка,— изображать Большого Оленя. Никто еще не осмеливался рисовать покровителя племени раненым. А тем более никто не пытался рисовать рядом с оленем человека или вытесывать из камня роженицу.

В руке у Тингла тлеющая головня, позади за плечами, чтобы были свободны руки, привязаны лук, стрелы и топор.

Тингл решил поселиться в малой пещере, которую ему показал Сул.

В очаге еще сохранились погасшие угли костра, который они разводили тогда.

Прежде всего Тингл позаботился о дровах. Он не хочет, оставшись без огня, обращаться за помощью в племя. Он уже не маленький — в этом году встретил свою четырнадцатую весну.

После этого нужно было подумать о пище. Бездельничать времени не было.

Пламя осветило пещеру. Вспыхнули черные зрачки оленя, нарисованного на дальней стене. Этот был почти точной копией Большого Оленя из пещеры, где жило племя. Тингл взял из костра головню и приблизился к нему. Увидеть оленя на близком расстоянии труднее — несколько размашистых линий, плавно изогнутых в одном месте, в другом — скрещенных под острым углом. Но Тинглу не обязательно целиком видеть рисунок, он может распознать целое по детали. Только он видит мысленно совсем не такого оленя, какой нарисован,— а своего, другого. Он испытывает нестерпимый зуд в кончиках пальцев, так ему хочется прочертить на камне свои линии, иные, более точные, чем вырубленные до него. Сразу видно, что олень не живой, — на скале только его мертвый контур, как застывшая тень. Ведь у настоящего живого оленя мощно выпирают бока, шкура на них светится иначе, чем на холке, у сильного самца борода серебрится на свету. Оленю, высеченному на стене, не

хватает этих живых изменчивых переливов света, чтобы ощутился напор мускулов.

Но тот, кто каменным резцом высекал эти линии, установил, того не желая, жесткий закон: только так! Давно уже никто не помнит его имени, но старейшины и Тэт-он не допустят никаких отклонений.

Тингл укрепил головню в трещине, выбрал из костра остывший уголь, и одним твердым размахом провел по известняку новую линию, перекрывшую оба старых рисунка...

Если бы не эта страсть, понуждавшая его даже в ненастные и голодные ночи высекать на известковой стене своего оленя, он не перенес бы изгнания и одиночества.

В тот год лесная земля не уродила ни грибов, ни ягод, на деревьях не было шишек. Не нажировавшие на зимнюю спячку сала медведи не собирались ложиться в берлогу. С ребрами, выпирающими сквозь мочки и колтуны облезлой паршивой шерсти, они бродили повсюду, потеряли осторожность, перестали бояться огня и запаха дыма. Один из таких ошалевших медведей ночью забрался в пещеру, занятую Тинглом. Они сплелись в борьбе на смерть — не окрепший подросток и отощавший, ослабевший медведь.

Когда соплеменники пришли за Тинглом, они нашли у холодного очага только два обглоданных лисицами скелета.

Никто не сумел разглядеть, что было изображено Тинглом на дальней стене грота.

* * *

Промозглая сырость тянулась в грот. Угли, припорошенные пеплом, чуть алели и попыхивали.

— Подъем!— весело скомандовал Игумнов.

Зашевелились оба других чехла, высунулись две головы.

— Не смотрели, как там погодка?— поинтересовался Степан.

Но и так было ясно, не нужно и выглядывать из пещеры — слышалось, как снаружи беспрерывно шелестел дождь.

— Бр-р-!— поежился Моторин.

Самыми неприятными были первые шаги — холодная вода лилась с каждого куста, под ногами хлюпало и чавкало. Но вскоре разогрелись на ходу. Им посчастливилось — вышли на звериную тропу. Но более всего взбадривала мысль, что до лагеря уже недалеко. Там можно отогреться у костра или забраться в сухой теплый мешок, досыта наесться горячего супа, гречневой каши с тушонкой.

Всем не терпелось поскорее рассказать о своей находке — не так уж часто в геологических маршрутах встречаются пещеры, расписанные художниками палеолита.

Э. ЗИННЕР

СТАРОЕ И НОВОЕ

...И тишина.

За поворотом осталась шумная городская магистраль. Заглох скрежет трамвая на повороте, замолкла многоголосица толпы. Старый город раскрыл свои ворота. Идем по тихим улочкам. Деревья, в землю вросли древние деревянные домики. На резные наличники и ставни осела светящаяся пыль инея, снег запорошил обломки ворот.

Не всегда увидишь эту красоту. Сколько раз приходилось проходить по этим улицам, и взгляд только равнодушно скользил по стенам, по воротам. Окна, двери, стены. С крыш свисают шапки снега. Все как всегда.

Но вдруг старый город дождался своего часа.

Улица Горького. Вчера еще над дверью висела ржавая паутина прутьев. Но зима вдруг разрисовала все серебристыми линиями, все засверкало. Появилось чудо.

В глубине двора на улице Дзержинского тянется скучная стена сарая. Сарай и сарай! Ничего особенного.

А вдруг к серой стене подошли добрые кони, запряженные в телегу. И старые стены как бы вдруг улыбнулись, и на них четко обозначились линии орнамента — стены вступили в веселый разговор с лошадками... «А помните.. помните?» Как иногда на старом угрюмом лице внезапно выступает паутина веселых морщинок.

Умирают старые улицы.

С испугом видишь: вчера еще здесь стоял чудесный старый дом, вчера еще лучи солнца бросали причудливые тени от узора карниза на столетние стены сруба.

Ночью приползли бульдозеры, краны и деловито ломают, оттаскивают в стороны искалеченные доски. Завтра здесь будет котлован, а там поднимутся стены. Выше и выше. И зашумят ребятишки на новом дворе, с визгом спустятся по горке. И не будет старого дома.

А мы все вздыхаем и брюзжим. Говорим о музеях-шкатулках, о необходимости взять на учет самые красивые дома, собрать остатки древнего деревянного зодчества города, сохранить память о наших предках, которые с такой любовью, с таким нескончаемым терпением долгими зимними вечерами строгали, пилили, шершавыми ладонями любовно гладили ожившие доски. И мечтали, может быть, о том, чтобы принести в серый скучный город немного солнца, и листики травы, и лепестки цветов далеких лесных полян.

И пока мы вздыхаем и спорим, падают старые стены, крошатся узоры наличников, ворот, ставней. Растут новые стены, раздаются новые голоса.

Не жить же вечно в этих милых, красивых, но таких неудобных домах. Новым людям жить в новых домах.

Когда идешь с фотоаппаратом по старым улицам, останавливаешься, чтобы уловить характерную деталь узора, запечатлеть ее, обязательно из ворот вынырнет бойкая старуха и станет допытываться: «Вы зачем это? Вы из горсовета? Сносить будут?».

— Да нет, так, ведь очень красиво?

— Красиво-то красиво. А вот попробуй поживи в таком доме. Сырость. Ребятишки простужаются. Дров не напасешься. Пусть уж лучше эту красоту скорее уберут.

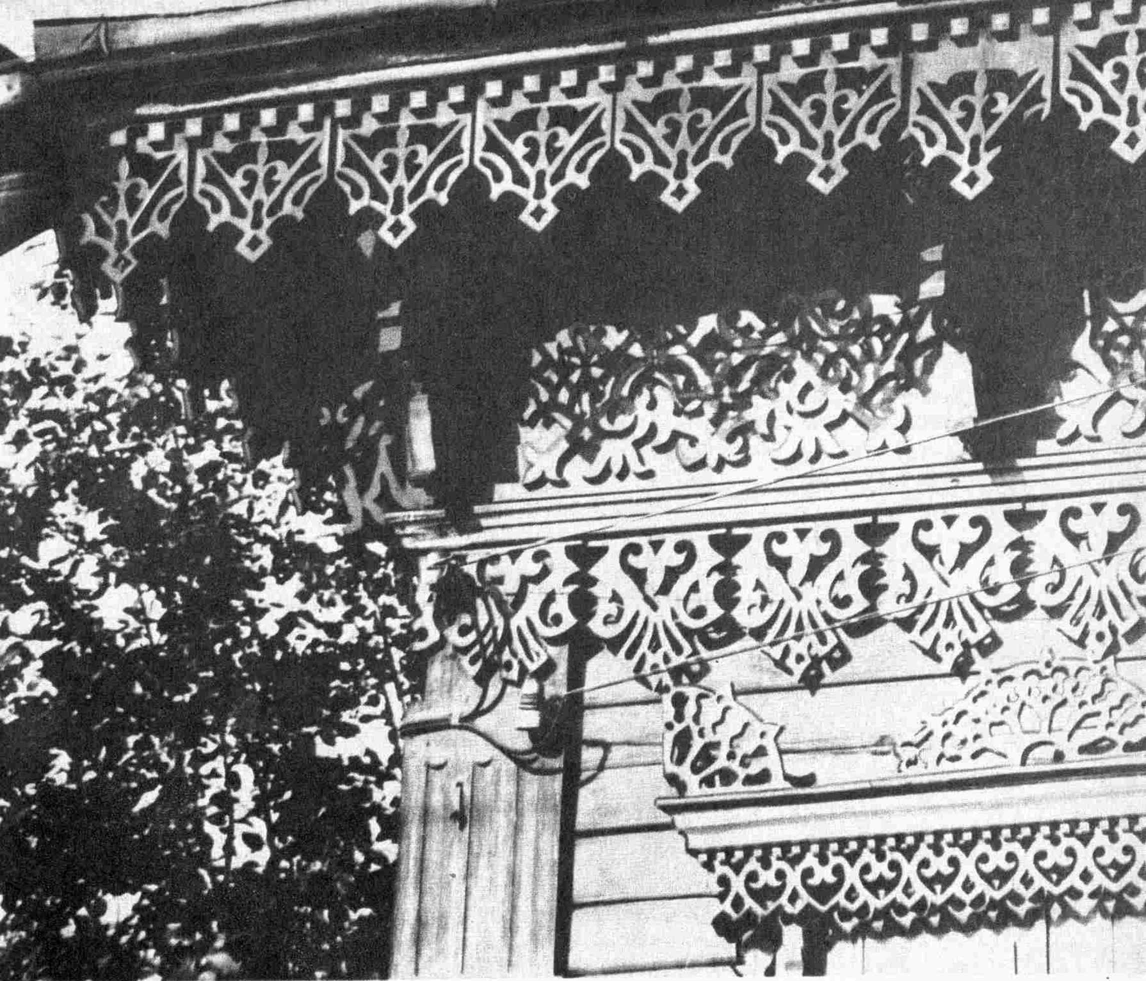
Горько такое услышать. А разве так уж я удивительно? Ведь жить-то действительно трудно. В сырости, в темноте крошечных окошек, совсем уж влезших в землю.

И смотришь — снова исчез старый дом, и над остовом столетних стен вьется облачко пыли. И деловито пыхтит бульдозер, машет своими длинными руками кран. А там привезут панели, блоки, бетонные балки. И появится хороший добротный новый дом.

Пока вздыхаем, и спорим, и учитываем, исчезает вся эта красота прошлого, исчезает память о вчерашнем, таком далеком, суровом и недобром порой, и таком родном, близком...

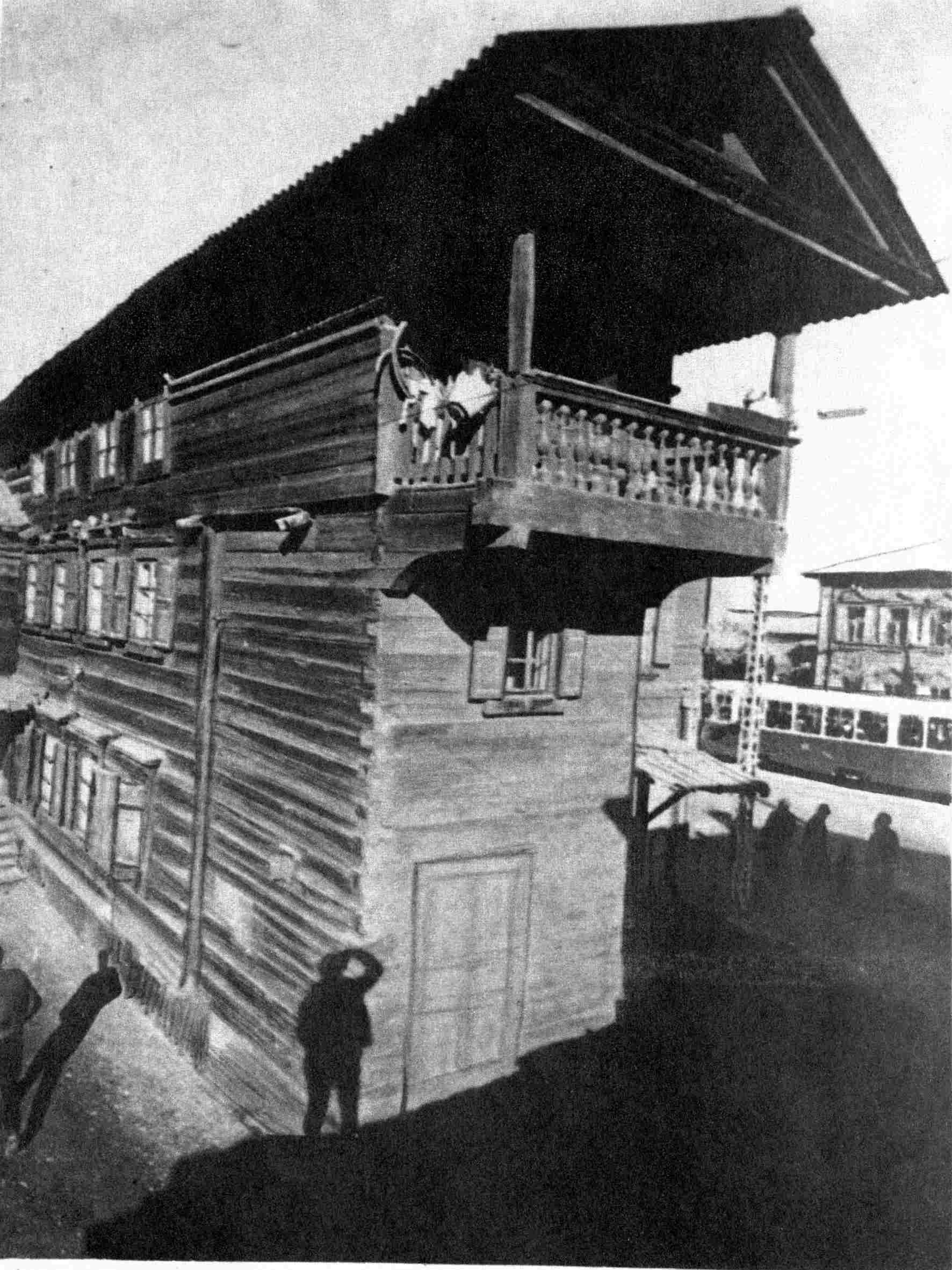
А не пора ли просто запечатлеть всю эту неповторимую и такую хрупкую красоту на пленке. Разыскать старых мастеров, творцов ее. Ведь должны же они еще быть. Откуда у них образцы? Шаблоны?

Есть необходимость издать альбом деревянного зодчества, создать краеведческие кружки в университете и педагогическом институте.















Геннадий МАШКИН

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Очерк

Повальное увлечение редкими камнями охватило нас после первого же знакомства с минералогическим музеем. Это случилось на первой лекции Анатолия Васильевича Сидорова. Началась лекция в актовом зале Иркутского горнометаллургического института.

Пришел лектор, указанный в расписании доцент А. В. Сидоров. Средний рост, плотная фигура, сродни медвежьей, крупное лицо, короткая стрижка серебряные искорки на висках, хорошо сшитый коричневый костюм, трубка в зубах.

— Сплошные формулы будут и сингонии! — объявил нам перед лекцией всезнающий очкарик Вовка Зуев.

А Сидоров пришел с томиком, на котором золотыми буквами было вытиснено: «А. Купринъ».

— Если посмотреть на историю человечества с точки зрения минералога,— начал Сидоров лекцию,— то увидишь, что человеческая жизнь связана с минералами самыми неразрывными узами... Человек и поклоняется камню, и носит его в организме, и воспевает его свойства.— Он раскрыл томик Куприна и стал читать своим неторопливым приглушенным голосом: — «Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распустившиеся в лесах у подножия Ливийских гор,— аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз, оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, синезеленый, как морская вода у берега, бериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения...».

Сидоров захлопнул книгу и пыхнул пряным дымком.

— Но свойства всех камней,— продолжал Сидоров, — по мнению ученых древности, соединял в себе минерал минералов — философский камень. Этот камень обладает волшебным свойством превращать обыкновенные обломки в золото и драгоценности, заурядное— в выдающееся, болезнь— в здоровье, несчастье — в счастье...

— Сказочки! — подал реплику Вовка Зуев.

— Конечно,— усмехнулся Сидоров,— только ковер-самолет тоже был когда-то сказкой...— И он показал трубкой в потолок.

В зал донеслись хлопки реактивного самолета, берущего звуковой барьер.

Пока мы прислушивались к гулу над городом, Сидоров набил трубку табаком и сказал:

— Ну, а дальше продолжим лекцию в музее, чтоб убедительней было...

Он двинулся в коридор, а мы потянулись за ним. В сумраке вспыхивал огонек трубки. Сидоров вел нас по длинным и темным переходам старинного здания. Мы шли как будто бы в преисподнюю. Наконец остановились перед дверями, над которыми висела скромная табличка: «Минералогический музей».

— Милости прошу,— пригласил Сидоров, распахивая дверь,— кладовая природы!

Мы замерли, ослепленные. Мы и не представляли, какие откроются нам сокровища в этом полуподвальном помещении.

Под стеклом витрин, на открытых стеллажах и подставках играли всеми цветами радуги минералы планеты Земля.

— Пройдитесь по музею,— предложил Сидоров, — приглядитесь внимательней, познакомьтесь с образцами...

Сидоров говорил о своих камнях, как о

живых людях. И все кинулись знакомиться с кладовой редких камней и минералов.

Меня заставил остановиться огромный плоский кристалл белой слюды-мусковита. Мельком я прочитал в маленькой табличке рядом с кристаллом, что это дар геолога Тумольского. Месторождение «Мама».

— Золото! — крикнул Вовка Зуев, и я ринулся к дальней витрине.

— Самородки с Лены!

— Муляжи..., а я думал — настоящие...

— Настоящие в ход пошли давно...

Все были зачарованы даже муляжами золотых самородков. А я заметил на другой стороне под стеклом кварцевый обломок с золотым прожилочком.

— Вот оно настоящее, коренное! — показал я.— Пионерское, Восточный Саян.

Вся Вовкина группа перебежала ко мне. А с других концов зала неслись восклицания:

— Какие гранаты, девочки!

— Роза и роза! Будто выросла из мрамора!

— Ребята, сюда — целая пещера самоцветов!

— Нашел лазурит!

— Вот он — малахит!

Я оглянулся на Сидорова. Наш декан следил за нами вприщур с едва заметной улыбкой: «Ищите, ищите лучше... Здесь есть все, что душе угодно...».

И я бросился искать.

Мне совсем ничего не говорили таблички со словами «дар» и фамилиями тех, кто дарил: А. Труляев, В. С. Петухов, Г. Н. Киселев, В. Г. Игнатьев... Я больше обращал внимание на этикетки: «турмалин», «эритрин», «волластанит, сильвин»... Красивые звучные названия. Мы пришли на геолфак, начитавшись «Занимательной минералогии» Ферсмана. Но тут был такой карнавал камней, в котором сориентироваться первокурснику не под силу. А очень хотелось побыстрее разобраться в минералогии, чтобы узнать, не скрыто ли в ней и на самом деле такого чуда, которое может сразу осчастливить человека.

Надоели военная и послевоенная нужда, голодовки, жизнь в бараках и засыпушках, личные огороды, мелкие ссоры родителей и соседей, поросята, курицы, козы — все эти вечные спутники жителей пригорода. Наука изменит жизнь каждого из нас и жизнь всего окружения, в этом никто из нас не сомневался. И мы рьяно вчитывались в страницы учебников и книг, копали картошку, а потом опять занимались, нянчили младших, затем садились решать задачи, пасли коз и коров, повторяя бином Ньютона. Наука была нашим маяком. Наиболее сильные из нас упорно плыли к заветной гавани, где ждало детей войны изобилие, радостная жизнь и высокое творчество.

Мы неплохо закончили среднюю школу. Поступили в институт, периферийный, но все же храм науки. «Пусть вуз провинциальный,—думал я,— зато факультет геологический. Со студенческой скамьи — сразу в тайгу! Разведка, поиск, палатки, рюкзаки, загорелые лица, меховые куртки, открытия и премии за них, жизнь, не замутненная никакими мелкими заботами, все высокое, чистое, суровое... Прощай, родная Селивановка, пусть старики да те, кто не смог вытянуть в институт, живут в твоей непролазной грязи. А меня ждет романтика таежных кочевий, научные изыскания и ветер дальних странствий».

Правда, надо было еще пять лет ходить из Селивановки в центр города и возвращаться обратно в наш покосившийся аварийный барак. Перейти бы в общежитие, но тут целое столпотворение — иногородним не хватает койко-мест. Да и общежития — черные бараки на Пятой Советской — точно такие, как наш в Селивановке, построены руками студентов послевоенного набора. Нет, ждать еще долго заветной гавани. Нельзя ли приблизить светлое будущее? Отыскать такой волшебный ключик, а еще лучше тут же, в Селивановке, найти золотой самородок. И тогда все преобразится прямо сейчас! Заасфальтируют улицы, на месте бараков построят светлые дома с паровым отоплением и горячей водой, полки магазинов наполнятся разными дефицитными товарами и продуктами. Я много думал о таком волшебном средстве, хотя и понимал, что это — всего лишь детские грезы. Я знал и о философском камне. Но считал его утопией, пока не попал в музей Сидорова. «В природе есть все,— подумал я.— И если уже в древности искали философский камень, так почему бы его не найти геологам? Нашли же уран, когда он потребовался человеку, целые месторождения нашли...— И фантазия, подстегнутая сверкающими самоцветами, погнала меня по музею от витрины к витрине.— А не лежит ли себе без дела какой-чибудь маленький обломок философского камня здесь? И даже сам хозяин музея не догадывается о его волшебных свойствах...».

И я торопился от витрины к витрине: «нефрит», «мрамор», «апатит», «топаз», «хризоколла», «нефть». Все это очень важные минералы для человека, но мне нужен главный, самый главный минерал, минерал всех минералов!.. Золотистый пирит, халькопирит, блеклая руда, сизый графит, кроваво-красная киноварь... Не то, не то...

Вот целая полка уральских яшм. От них нельзя отвести взгляда. На полированных поверхностях сложные рисунки: отчетливо проступает вулканический конус, над ним багровая туча, на склонах текущая лава; здесь бурное море, одинокий парус и дальняя полоска берега; вот палаточный город в тайге; здесь какое-то смешение гнусных физиономий в снежном вихре, будто иллюстрация к пушкинским «Бесам»; а это зловещие взрывы грибовидной формы; дальше — странный светящийся мир, затем уж совсем непонятная чертовщина...

Как все это нарисовано природой? Зачем? Можно так обточить яшму, а можно в другой плоскости, и везде будет свой неповторимый и удивительный рисунок.

«Природа не только гениальный художник, она и гениальный волшебник!»—с этой мыслью я снова бросался вдоль витрин в поисках признака философского камня.

Перед моим взором, наконец-то, мелькнуло слово «камень». «Еврейский камень»! На белой гладкой поверхности, будто на странице древнего манускрипта, какие-то письмена, похожие на древнехалдейские иероглифы. Неужели это писала природа? Какой смысл заключен в этом письме?

— Пожалуй, продолжим, друзья, разговор о минералах,— раздался голос Сидорова, и пришлось возвратиться к нему.— Сегодня хочется рассказать вам, как попадали в этот музей некоторые камни.

Он вперевалочку пошел вдоль стеллажей, останавливался то возле одного образца, то возле другого, словно мысленно разговаривал с камнями.

— Вот эту горку из самоцветов,— показал он трубкой на фантастическую слепку разноцветных камней,— составил один из декабристов. Что он хотел выразить такой слепкой — непонятно. Однако эту горку купил у него купец Трапезников. А его имущество было конфисковано после революции...

Сидоров пошел дальше и вдруг резко остановился возле кварцевого штуфа с золотым прожилком.

— А этот образец тоже имеет солидный возраст. Он пролежал долгое время в архивах геологоуправления, как залог одной пропавшей экспедиции...

Задумался, склонил свою массивную голову, как перед памятником.

Это случилось в годы гражданской войны в Сибири. Поручик Никитин, бывший выпускник геологического факультета Томского университета, мобилизованный Колчаком, отступал с остатками полка через Саяны в Монголию. Отряд поднимался по рекам, покрытым ледяным панцирем. Под копытами лошадей гудели пустоты, обозы проваливались в эти ловушки, обмороженные люди будили эту заснеженную хмурую неприступную горную страну криками и руганью. Страх перед красными частями и партизанскими соединениями гнал разбитый отряд на горные кряжи к границе, а тоска по родной земле заставляла оглядываться назад. И если бы оставалась надежда выжить между пулями своих и красных, многие бы свернули в эту лазейку. Но считалось, что этой надежды не может быть.

Только поручик Никитин видел способ вернуться назад. В его коченеющем сознании билась нелепая мысль о чуде. Если бы у него вдруг оказался ценный клад, то Никитин поступил бы просто. Он не хотел больше войны. Он желал купить себе право оставаться гражданином этой истерзанной земли, что называется Россия. Он бы жил на ней, работал и не лез ни в какую политику. Слава богу, ему есть что предложить Советам: свое знание горного дела, диплом с отличием наконец. Но для начала нужен клад!

С такими мыслями поручик шагал по гулкому льду, мимо скалистых прижимов, сжимающих с каждым днем все больше и больше свои объятия. Никитин глядел по сторонам, мысленно отмечая смену пород, выделяя дайки, жилы, следы оруденения. Отупев от невзгод, голода и мороза, он жадно надеялся на чудо, как заклинание повторяя про себя: «Сезам, откройся!... Откройся, Сезам!».

И чудо свершилось.

Однажды он заметил соломенно-желтые крапинки в полузасыпанной кварцевой жиле. Протер глаза — крапинки не исчезли. «Не может быть... не может быть...» — пробормотал он сухими обветренными губами.

Успокаивая сердце, Никитин присел будто по нужде, а сам все оглядывал жилу, примечая новые ответвления. «Это спасе-

ние,— мелькнула мысль в его воспаленном мозгу.— Не хуже клада монет... Это цена моей свободы! Здесь же целое месторождение золота!».

Он выждал, пока отряд пройдет. Потом выбрал несколько увесистых кусков кварца с золотом и бросился назад.

По протоптанной дороге бежалось быстро. Никитину посчастливилось пройти беспрепятственно мимо партизанских отрядов, отступающих колчаковских частей и белочехов. И так он с золотом пришел в Иркутск. В Иркутске поручик Никитин явился в губревком и вывалил на стол председателя свои камни.

— Прошу дать мне жизнь и свободу взамен месторождения золота,— объяснил он.

— Сначала разберемся, кто вы есть,— ответил ему председатель,— а потом решим и с остальным.

Пришлось посидеть Никитину, пока чекисты разбирались в биографии бывшего поручика. Тяжкой вины обнаружено не было, и геологу предложили возглавить поисковый отряд с тем, чтобы разведать открытые им запасы золота.

Поблагодарив за доверие, Никитин повел свой поисковый отряд в Саяны. И будто в воду канула вся экспедиция. Ничего не осталось от Никитина, кроме единственного образца. Но этот кусок кварца с золотом не давал покоя многим геологам. И в конце концов, в тех местах, которые описывал в своих рассказах бывший колчаковский поручик, нашли богатое месторождение и назвали его Пионерским.

— А отряд куда делся? — вырвалось у Вовки Зуева.

— Следы отряда были обнаружены в зимовье возле Пионерки,— ответил, помедлив, Сидоров.— Все были перебиты... Как видно, нарвался отряд на остатки колчаковских банд...

Сидоров пошел дальше, хмуря белесые брови, а мы, как примагниченные, двинулись за ним.

— А этот с виду невзрачный образчик,— Сидоров показал на кусок блекло-синей породы с белыми пузырчатыми вкрапинками,— кимберлит... Та самая порода, что заполняет алмазоносные трубки в Южной Африке, а теперь, как оказалось, и у нас в Якутии. Так вот, данный кусок кимберлита доставлен в музей друзьями геолога Карцева, который заблудился в якутской тайге в тридцатом году. Тогда еще не было ни вертолетов, ни раций, ни добрых карт. Он вышел через месяц к Лене и умер на берегу, зажав в кулаке этот кусок кимберлита.

Сидоров умолк, задумался, забыл о нас. Вздохнул о чем-то своем и стал продолжать лекцию неторопливым голосом:

— Вот эти камни привезены во время войны из Богемии... А здесь вы видите уже дар гостей из-за рубежа. Шамозит привез нам Клаус Элер, нефрит преподнес лесопромышленник Кецис.

И опять наш лектор надолго умолк, раскуривая трубку с такой силой, будто хотел сжечь весь табак в одну затяжку.

Я краем глаза увидел, как под шумок протянулась рука Зуева к лотку с неразобранными «дарами», ухватила зеленовато-синий кристалл апатита и унесла его в карман вельветового пиджака.

Признаться, мне тоже хотелось запастись образцом на память. Но показалось, что Вовкино приобретение не ускользнуло от полуприщуренных глаз доцента.

— И вот о чем бы мне хотелось вас предупредить, мои юные друзья,— улыбнулся Сидоров.— По опыту знаю, сейчас у вас начнется минералогическая лихорадка. Вы будете сбивать собственные коллекции минералов. Но будем надеяться, что к концу вашей учебы эти коллекции перекочуют в музей. Ибо, считаю я, таить у себя дома минералы — все равно, что закрывать доступ к философскому камню...

По коридорам разнесся электрозвонок, и мы пошли из музея. Но камни мерещились всюду. И глаза выискивали теперь любую каменную мелочь в облицовке здания, в лепке, в плитах на полу. И уж если попадался редкий камешек, расстаться с ним не было сил.

После нескольких экскурсий в музей минералогии мы забыли об угрозах, которые слали на головы частным коллекционерам. Сами становились частниками. Слонялись по улицам в надежде отколоть где-нибудь кусочек редкого минерала, отмечая, из чего сделаны пьедесталы памятников и сами памятники, а также колонны, фризы, капители старинных домов, каких немало в Иркутске.

Когда начали сносить Иерусалимское кладбище, наши коллекции пополнились отменными кусками лабрадорита, редких сортов гранита и мрамора.

Выехав на воскресник на стройку Ангаргэс, мы обнаружили в котловане глыбы,

привезенные из Слюдянского карьера. Эти глыбы состояли из мрамора, в котором были заключены великолепные кристаллы флогопита, апатита и байкалита. Мы набросились на эти глыбы с теми кайлами и лопатами, что выдали нам для работы. Пользы от нас Ангаргэс получил немного. Зато мы возвратились с полными карманами минералов.

Сидоров только покачивал головой, замечая нехороший блеск в наших глазах при виде редкого кристалла. Иногда кристаллы пропадали из музея. Сидоров мужественно сносил это воровство. Мы с лихвой окупали свою нездоровую страсть знанием минералогии. Тройка у Сидорова была редкостью. А давал он нам определять такие кристалльчики, которых не было и на стендах музея. У него привычка приносить на экзамены редкие минералы прямо в карманах. Экзаменационный листок — это полдела. А вот когда Сидоров вынимает из кармана камешек — тут трепещи! Наверняка о таком минерале ты только читал в литературе, а видишь — впервые. И нужно по внешнему виду определить минерал, назвать его формулу и физические свойства.

Помню, мне декан вынул из нагрудного кармана маленький коричневый камешек. В голове будто перелистнулся большой том «Минералогии» Бетехтина.

— Вилуит,— догадался я,—разновидность везувиана, встречается только в Якутии, тетрагональная сингония, кристаллы представляют комбинацию двухтетрагональных призм и дипирамид...

— Молодец,— сказал Сидоров и поставил в зачетной книжке «отлично».— Едешь то практиковаться на саянские пегматиты?

Я кивнул.

— Не забудь привезти для музея образцы...

— Не забуду! — пообещал я, отводя глаза.

Я подумал, едва ли смогу что-то выделить для музея. Очень много заказов поступило от моих товарищей. Они обещали мне привезти со своих месторождений образцы, а я должен был взамен наделить их моими находками. Но много ли вывезешь из Саян?

Тогда я еще не знал, что такое Саяны. Первые наши учебные практики проходили под Иркутском. А Саяны встретили сурово. Веяло холодом со снежных хребтов, хлестали колючие ветки наотмашь по лицу, исчезала тропа под ногами, засасывали мари. Правда, минеральные богатства здесь были несметные. За месяцы практики я набил рюкзак свой так, что еле поднял, когда настала пора выходить из тайги. И этот рюкзак чуть не стал последним в моей жизни. Надо было завьючить его на лошадь хотя бы при переходе через Урик. Но опасно было препоручать неуклюжему возчику Нечкину драгоценный хрупкий груз.

Я пошел через быстрый Урик последним, сбился с брода и рюкзак потащил меня в улово. Я силился сбросить с себя тяжкий груз. Но лямки врезались в плечи. В светлой воде я видел приближающееся дно. Разноцветные валуны расплывались перед глазами. Вот-вот рюкзак должен был навечно припечатать меня ко дну. Но тут я увидел на дне рядом с собой тень. И сразу рюкзак перестал давить. Чьи-то руки рванули с меня вещмешок, и я вынырнул на поверхность.

Нечкин выволакивал на берег мой рюкзак.

— Осторожно! — вгорячах закричал я.— Там кристаллы!

— Чокнутый! — обозвал меня Нечкин.— Из-за каких-то камней утонуть мог!

— Не из-за каких-то, а из-за редких минералов.

— Фу ты черт, и напридумают же эти геологи.— Нечкин сплюнул сквозь рыжие зубы и ткнул в мой груз сплющенным носком сапога.— Ну, теперь-то на лошадь перегрузишь свои перлы?

Я покрутил головой и подставил возчику спину, чтобы он помог мне загрузиться. И потянулся за лошадьми по стокилометровой тропе. И чем дальше уходил от Урика, тем больше задумывался над случившимся. Из-за нескольких редких камней я чуть не утонул. И ради чего рисковал? Чтобы сбить собственную коллекцию! А будет ли она стоить того, что я на нее затратил? Соберу домашнюю коллекцию! Музея мне никогда не перехлестнуть, хоть десять раз тони в горных речках. Так не лучше ли принести самые отборные камни в музей, а мелочь всю выбросить?

И на первом же привале я облегчил свой рюкзак.

Оставленные лучшие кристаллы я принес Сидорову для музея.

Однокурсники не удивились такому обороту. Как-то сразу после производственной практики поубавилось охотников коллек-

ционировать минералы на дому. Наверное, со многими произошло что-то такое, как со мной на Урике. Мы задумались над смыслом собирательства. Сидоров заметил эту перемену и стал помогать нам дойти до своих позиций в этом деле.

Он не навязывал нам рецептов и формул. Просто рассказывал о своей жизни.

Анатолий Васильевич родился в бедных болотистых местах Западной Украины в семье батрака. Полуголодному мальчишке грезились сказочные края изобилия. Здесь сколько ни работай, так и останешься бедняком. А вот уехать бы туда, где что ни копнешь — самородок или драгоценный камень! Мечте так и остаться бы мечтой, если бы не первая мировая война. Недаром говорится: «Нет худа без добра».

Шквал первой мировой войны окончательно опустошил Западную Украину. Потянулись беженцы в спокойные места, подальше от войны, голода, разрухи. Семья Сидоровых тоже снялась с места и переехала в Сибирь. И здесь мечта получает реальную базу, а революция дает возможность учиться.

Сразу же после школы в 1929 году Анатолий идет работать на угольные копи в Минусинском округе. Перенимает опыт геологической службы у специалистов из Германии, Голландии, США. Своих специалистов в те годы было мало, и Сидорову предлагают уже через два года работы на шахте пост геолога. Но способный парень понимает всю непрочность, поверхностность своих геологических знаний. На одном опыте добраться до заветных кладов трудно. Надо учиться дальше, чтобы стать настоящим поисковиком, решает Сидоров.

Он поступает на первый курс Томского индустриального института и учится по специальности «Геология и разведка». Закончив в 1936 году институт, он получает назначение в Иркутскую область. Здесь на золотой Бирюсе, в Саянах, руководит геологической службой Бирюсинского приискового управления.

Молодого геолога покоряет Восточная Сибирь, ее обширные пространства и минеральные богатства. Но гложет мысль о том, как низок потолок его геологических знаний. И Сидоров возвращается в Томский индустриальный, чтобы продолжать учебу в аспирантуре.

Восточная Сибирь зовет к себе не только воспоминаниями об этом крае богатых недр. Друзья из Иркутска предлагают молодому кандидату возглавить кафедру минералогии в Иркутском горнометаллургическом институте и одновременно заведовать музеем. Сидоров принимает приглашение.

Он возглавил музей, в котором насчитывалось три тысячи образцов пород и минералов. К нашему выпуску 1959 года музей Сидорова располагал пятнадцатью тысячами экспонатов. Сейчас в нем уже более тридцати тысяч удивительных минералов. И немало этих образцов доставлено моими однокашниками.

С первой производственной практики на полках музея стали оседать наши дары. К пятому курсу большинство частных кристаллов перекочевало в музей. Вовка Зуев вернул не только унесенный когда-то апатит, но и подарил музею все свое довольно богатое собрание.

Мы поняли, что с беспокойной геологической жизнью трудно увязать добропорядочный бюргерский уклад, особняк, мебель, автомобиль, личную библиотеку и частную коллекцию. У настоящего геолога дом — палатка или зимовье, постель его — спальный мешок, а все имущество размещается в рюкзаке, и чем меньше имущества, тем лучше. А минералы, собранные тобой, пусть радуют глаз человека в музее Сидорова.

Как отрадно становится на душе, когда ты, проезжая в отпуск через Иркутск, приехав сюда из тайги на защиту проекта или диссертации, заходишь в музей теперь уже нового, громадного политехнического института, раскинувшего свои корпуса на левом берегу Ангары. Идешь мимо знакомых витрин и как со старыми друзьями встречаешься с минералами. Замечаешь новинки, читаешь имена незнакомых людей, которые продолжают добрую традицию — приносят в наш музей каменные дары редкостной красоты. Воочию видишь, что философский камень не такая уж и легенда. Это красота, запечатленная природой в камне, собранная людьми в одну общую коллекцию. И эта удивительная мозаика неотразимо действует на души людей. А возвысить душу человека труднее, чем построить новый дом или наполнить витрины магазинов дефицитными товарами. Мы стали понимать это, благодаря Анатолию Васильевичу Сидорову.

Когда-то неистово собиравшие собственные коллекции теперь участвуют в большом добром деле. Разве это не есть вол-

шебное превращение? Вовка Зуев, ныне Владимир Миронович, прислал из Якутии образцы кимберлитов. Рядом с другими дарами имена Г. Мехедова, Е. Васильева, И. Полетаева, Ю. Усикова, Ж. Карповой... Многие из них остепенились, даже сменили палатку на управленческий кабинет или сами заведуют кафедрами, лабораториями. Однако они продолжают по крупицам собирать философский камень по методу Сидорова. А сам хозяин музея не забывает напомнить каждый раз, чтобы мы не успокаивались, пополняли нашу общую коллекцию.

Мы проходим к нему в музей, и он, как прежде, ведет нас вдоль витрин, все тот же неутомимый искатель и собиратель разумного, доброго, вечного и прекрасного.

Валентина МАРИНА

„...И СЧАСТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ"

(Перечитывая книги)

В египетских пирамидах ученые нашли недавно любопытное сочинение. Древний летописец сетовал на падение нравов среди молодежи, на непочтительность к старшим, дерзость, леность. Как видите — три, а может, и пять тысячелетий до нас люди жаловались на молодежь так же, как кое-кто жалуется и сегодня.

Можно бы объяснить это старческой ворчливостью. Людям свойственно с годами забывать свои молодые прегрешения и, наоборот, слегка преувеличивать добродетели.

Но можно взглянуть и по-другому. Каждое поколение тяжким трудом и кровавыми жертвами завоевывает право подняться на новую ступеньку прогресса. И вполне оправдана его тревога о том, в чьи руки достается это завоевание! Будут ли наследники достойны принесенных великих жертв? Это когда речь идет вообще о молодежи, вообще о новом поколении. А если к этому примешивается личная тревога о моральном облике своего сына, о нравственности дочери? Ясно, что забота о воспитании, о моральном уровне грядущего поколения всегда была, есть и будет насущной заботой человечества.

Ну, а там, где речь идет о воспитании человека, не обойти его личной жизни, жизни в семье. Потому, что фундамент нравственности, моральное кредо человека закладывается уже в первые дни жизни, буквально всасывается с молоком матери. Не зря народная пословица советует: «Учи дитя, пока поперек лавки лежит... . И какие бы ни были наставники у ваших детей в дальнейшем — то, что заронила в их души семья — останется с ними на всю жизнь.

Художественная литература как человековедение и как средство воспитания высокой нравственности не могла, конечно, обойти семьи и всегда отличалась самым пристальным вниманием к взаимоотношениям людей в так называемой личной жизни, чаще всего скрытой от посторонних глаз, а поэтому самой искренней и подлинной. Мастера советской литературы тоже так или иначе обращались к семейной теме, и в этом смысле любопытно проследить, как эта тема трактовалась в разные периоды нашей жизни.

Возьмем один из первых советских романов — роман «Цемент» Федора Гладкова. Теперь эта книга почти забыта, но в свое время она была хрестоматийной, не побоюсь сказать, настольной книгой. Не буду касаться до-

стоинств и недостатков в обрисовке основной линии романа — восстановления разрушенной гражданской войной промышленности. Возьмем только взаимоотношения главных героев романа Глеба и Даши Чумаловых. Новороссийский рабочий Глеб Чумалов три года провел на фронтах гражданской войны, Даша не знала даже о том, жив ли ее горячо любимый муж и отец их единственной дочки Нюрки. И вот они встретились на пороге дома. Но предоставим слово автору:

«...Она не могла от него оторваться и по-ребячьи лепетала:

— Ой, Глеб! Как же ты так... я и не знала... Откуда же ты взялся? И так неожиданно...

И смеялась и прятала свою голову у него на груди.

А он все прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, как вся она дрожит в неудержимом трепете».

Как видим, чувства их не угасли, любовь жива. Но... «Даша вдруг спохватилась и крикнула испуганно:

— Ой, опоздала! Бежать, бежать надо, Глеб! — Два дня не буду дома — очень срочная командировка в деревню.

...А Нюрка! Где же дочка?

— Нюрка в детдоме. Иди, отдыхай, а мне ни минуты нельзя. Сам понимаешь, партдисциплина!»

И вернувшись из командировки, Даша не очень-то обрадовала стосковавшегося мужа. Он, было, пустился в лирические воспоминания об их прежней любви:

«...А помнишь ту ночь, как мы с тобой расставались? Помнишь, как ты за мной ухаживала на чердаке? И как ты плакала, когда расставались! Эти твои слезы не забывались ни на один день».

Но Даша уже смотрела на прошлое по-иному:

— Видишь ли, Глебушка... Когда-то я была дурочкой. Прямо вспоминать стыдно.

— Так, выходит, Дашок, что я напрасно сюда ехал? Прежнее к черту?

Даша пристально посмотрела на него и отвернулась к ночному окну.

— Чего ты хочешь, Глеб?.. Я научилась бороться за свою жизнь. И обедать привыкла в столовой нарпита.— И пошутила с улыбкой: — Видишь, я свободная советская гражданка.

Глеб сел на кровати и в глазах его, видевших смерть и кровь, вспыхнул испуг:

— А Нюрка? Может, ты и дочку выбросила к свиньям, как свободная женщина?

— Ну уж это совсем глупо, Глеб.

— Ну, хорошо, Даша. А если я завтра пойду в детдом и приведу Нюрку домой?

— Пожалуйста, Глеб. Ты — отец. Ухаживать за ней я не могу — некогда. А если хочешь быть нянькой — сиди с ней. Буду очень рада.

— Но ведь ты же мать!

— Я партийка, Глеб! Не забывай этого».

Сейчас все это звучит пародийно, но тогда, сорок лет назад, звучало как откровение. Надо было пережить веками укреплявшееся женское порабощение, безграничную зависимость от мужа, кухни, пеленок, чтобы в яростной борьбе за равноправие так беспощадно, даже радостно оттолкнуть извечные ценности — супружескую любовь, святые радости материнства, тепло домашнего очага. Федор Гладков верно уловил дух времени и в меру своего таланта выписал Дашу Чумалову такой, какой вышла она из огня революции: смелой, самоотверженной, бескомпромиссной в борьбе с пережитками прошлого, но и, к сожалению, лишенной многих драгоценных черт женского характера.

Миллионам читателей, и особенно читательниц, Даша Чумалова казалась тогда идеалом свободной женщины. Недаром роман «Цемент» выдержал с 1925 по 1927 год одиннадцать изданий и был переведен на все иностранные языки. Те, кому сегодня за пятьдесят, навер-

ное, могут вспомнить не одну такую Дашу — делегатку в красном платочке, яростно отстаивавшую женское равноправие. Немало их появилось и в литературе тех лет. Наталья Тарпова — героиня одноименной повести Чумандрина, «Первая девушка» Богданова, героиня нашумевшей повести Сергея Малашкина «Луна с правой стороны» и другие более или менее яркие литературные героини не спешили обзаводиться детьми. Муж для них был добрым товарищем, от которого в любой день можно уйти к другому, а ревность — позорным пережитком проклятого прошлого.

Та же Даша Чумалова нарочно наговаривает на себя, чтоб проверить, окончательно ли ее муж, коммунист, отрешился от этого пережитка. И Глеб скрипит зубами, но не подумайте, что по поводу Дашиной распущенности. Он негодует от того, что Бадьин, в близости с которым Даша призналась,— не советский человек, приспособленец и карьерист.

А вспомните, как Михаил Шолохов рисует в такой же ситуации наиболее удавшегося ему героя «Поднятой целины» Макара Нагульнова. Нагульнов знает о постыдной связи своей жены с Тимофеем Рваным, но ревновать себе не позволяет. Он же против собственности и женского рабства! Только когда начинается коллективизация и Тимофей окончательно проявляет себя как враг, Макар Нагульнов разрывает с Лушкой. И убивает он Тимофея не из ревности, а как классового врага! Шолохов ничего тут не придумал. Такие люди были. Таков был эстетический идеал, и так иные его понимали.

Но особенно не повезло теплому домашнему очагу. Он стал почти что синонимом махрового мещанства. Такие его атрибуты, как герань на окошке, кисейные занавески и клетка с канарейкой, были на вооружении у всех сатириков и эстрадных певцов того времени.

А в самом деле, так ли уж нужен советскому человеку домашний очаг? Если судить по газетным очеркам и художественной литературе двадцатых, тридцатых и отчасти сороковых годов— не очень. Вспомните, когда бывал дома положительный герой повестей и романов тех лет? Он выходил из дому, когда поселок (город, деревня) еще досматривал последние сны, и возвращался, когда ночь уже окутывала уснувшие улицы. Детей своих видел только спящими.

Отклоняться от этого жестокого канона было небезопасно. В 1947 году в альманахе «Новая Сибирь» были опубликованы поэтичные очерки Ольги Серовой о Байкале. Одна из героинь очерков передовая рыбачка, тоскуя об отсутствующем муже, поет старинную сибирскую песню: «...Вот упала решетка тюремная». В конце этой песни есть такие слова: «Обниму свою милую женушку и засну на груди у нее».

Обличая писательницу в искажении образа передовой рыбачки, газета «Бурят-Монгольская правда» писала тогда: «Советские люди, засучив рукава, строят социализм, а вовсе не стремятся отдыхать на груди у милой».

Но это, как говорится, типичный газетный перебор. А вот как говорит главный герой романа «Поднятая целина» Макар Нагульнов:

«...Мне баба, жена то есть, нужна как овце курдюк. Я весь заостренный на мировую революцию. Я ее, любушку, жду. А баба мне — тьфу и больше ничего. Баба так, между прочим».

Возьмем одно из лучших произведений тех лет, роман-хронику Валентина Катаева «Время — вперед!». С полной достоверностью и художественной яркостью передан в романе творческий порыв строителей Магнитки! На пустом месте, почти что голыми руками советские люди невиданными темпами творили индустриальное чудо двадцатого столетия. Но чудо — это не более, чем поэтический

образ. Мы материалисты и понимаем, что чудес не бывает. Чудо достигнуто ценой сурового подвижнического отказа от всего личного, порой от семьи, от детей.

В романе «Время — вперед!» читатель напрасно стал бы искать страницы домашней, так сказать, личной жизни главных героев романа десятника Ищенко, прораба Корнеева, инженера Маргулиеса. Нет там таких страниц. Уже по тому, что дома они, эти герои, не бывают. В разгар соревнования, когда строители готовят мировой рекорд укладки бетона, молоденькая жена десятника Ищенки собралась рожать. Он везет ее в больницу через перекопанный траншеями и котлованами строительный полигон и... но пусть говорит сам автор:

«Мысль, что он опоздает и без него не успеют сколотить сплошной настил, приводила его в беспокойство и даже в озлобление против Фени.

— Нашла самое времечко...

Ее опять схватывало.

— Ох, не доеду!

Он слушал ее жаркий шепот и кусал губы от нетерпения. Скорее бы уж доехать, сбыть с рук и на участок...».

И в самом деле, сбыл с рук и думать забыл о жене, о ребенке, о новом своем отцовском положении. Когда поздно вечером парторг Филонов спросил его, разродилась ли Феня, он ответил, все еще поглощенный своим делом:

— А кто ее знает. У меня с этим мировым рекордом и так голова болит...

Инженеру Маргулиесу мировой рекорд не то что любить, поесть не позволяет. С раннего утра до глубокой ночи он собирается то позавтракать, то пообедать, то поужинать, но неотложные дела строительной площадки все время отвлекают его. Но любовь сильнее голода и она все же настигает Маргулиеса в лице художницы Шуры. Маргулиес одинок, а Шура прелестна в своей расцветающей юности, и она только что призналась ему в любви. Нетрудно, кажется, представить, о чем он думает наедине с ней. Однако дадим слово автору:

«...Маргулиес сидит с Шурой Солдатовой возле отеля.

Маргулиес крепко держит в своей большой руке ее руку. Он держит ее, как держат рубанок. Он думает (?!) о кубиках, которые будут давать через семь дней! (!)»

Теперь у многих эти строки вызовут ироническую улыбку. Но не спешите обвинять писателя в примитивизме и выхолащивании своих героев. Такими они и были, люди тридцатых годов, аскетичные и одержимые, в чем-то, видимо, примитивные, но цельные и надежные, как гранитные глыбы. И спасибо, что были они такими. Ведь меньше десяти лет отделяло нас в те годы от начала второй мировой войны. Кто знает, каких еще тяжких, кровавых жертв стоила бы нам победа над фашизмом, вооруженным индустриальной мощью всей Европы? Кто сумел бы сосчитать эти жертвы, не появись у нас так сказочно быстро Магнитка, Челябинский тракторный, Кузнецкий металлургический, возведенные руками, отвыкшими ласкать детей, руками, которые девичью руку держали как рубанок.

Что было, то было. Семья в ее подлинном общепринятом смысле переживала в те годы небывалый кризис, и в литературе это не могло не отразиться. Даже художник огромного дарования Михаил Шолохов в романе «Поднятая целина» обошел семью, сделав одинокими трех главных героев произведения. В самом деле, почему до тридцати шести лет не женат питерский слесарь Давыдов? Почему не было детей у Макара Нагульнова с Лушкой, у Разметнова с Мариной Поярковой? Совпадение? Сомнительно. А ведь все эти образы засверкали бы еще ярче, не обойди их автор настоящими, человеческими переживаниями. Вспомните замечательные «се-

мейные» страницы «Тихого Дона»: быт мелеховского куреня, когда Григорий был еще парнем, трагическое возвращение Григория к детям в конце романа.

В «Поднятой целине» могли оказаться страницы не хуже. Ведь не так-то просто было бы «заостренному на мировую революцию» Макару Нагульнову оторвать от сердца непутевую Лушку, будь у них хоть один ребенок. И не так легко ушел бы от Марины Андрей Разметнов, когда она отказалась вступать в колхоз.

А будь у Давыдова дети — кто знает— повернулся бы у него язык так отчитывать Андрея Разметнова за его отказ участвовать в раскулачивании многодетных хуторян:

«— Ты их жалеешь... Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слез наших детей? Над сиротами убитых плакали? Ну? — И вдруг, как свинчатку, с размаху кинул на стол черный кулак, крикнул: — Ты!! Как ты можешь жалеть?!»

Сравните, насколько человечней, справедливей действуют и рассуждают в подобных же обстоятельствах герои повести Сергея Залыгина «На Иртыше» Степан Чаузов и его жена. Когда ярый враг коллективизации Александр Ударцев поджег амбары с колхозным зерном и разъяренные колхозники столкнули с обрыва в Иртыш его избу, Степан Чаузов первый приложил к этому руку. Степан и самого Ударцева туда столкнул бы, попадись он ему в ту минуту. А вернувшись домой, Степан обнаружил, что жена его Клавдия приютила оставшуюся без крова семью Ударцева:

«На полу на двух тулупах лежала Ольга Ударцева со своими ребятишками. Она будто бы спала, а на самом деле открыла веки и тут же их снова закрыла, стала слушать. Ждать стала— что будет?

У нее лицо было строгое, видное, при свете спички походило на лицо покойницы, но ожидание и страх все равно нельзя было на нем схоронить,— веки и закрытые чуть вздрагивали, губы тоже. Дышала Ольга Ударцева тяжело.

Девчонка Ольгина подняла голову и снова ткнулась в подушку, а двое парнишек — один справа, другой слева — спали и тоненько по очереди всхрапывали. Меньший спал в шапке, закусив тесемку шапкина уха.

Пахли они все своим домом... Когда дом ударцевский упал с яра, где-то далеко шлепнулся в снег — наверху вот этот же самый запах долго еще слышался.

Спичка пожгла пальцы и потухла.

— Так...

Степан сбросил с себя полушубок, пимы, размотал портянки. Подошел к постели.

Запустил пальцы в густые, теплые Клашкины волосы, коснулся затылка и с силой Клашку встряхнул.

— Ну, привела в дом подружку свою? Привела — так иди к ей, приголубь! Иди! — И снова задрал кверху Клашкину голову. Разжал пальцы.

Клашка села на постели, опустила вниз ноги, а голову подперла руками...

— Поверь, прошу тебя, Степа! — прошептала Клашка.— Я тебя сроду верить себе не просила — ты сам догадывался, нонче прошу... Ударцев Лександра зерно поджег — так это же разбой и есть, он, как варнак, после того скрылся, а ребятишки? Неужто ты и ребятишкам враг, дом ихний разорил и со своего зимой выгонишь?! Ты же не власть и не чужой какой начальник — сделал, и нет тебя! Тебе ребятишки эти всякий день на пути будут, всякий день им в глаза глядеть! Нельзя нам их с избы гнать, нельзя мне было их и в избу не привести. Поверь ты мне, Степа, не обманывай меня: я ведь за человека взамуж шла. За человека...

Не ответил Степан на этот шепот».

Степан не ответил Клавдии, но вот что сказал он, когда спустя день в село приехал следователь и Степану уже

было ясно, что над ним нависло подозрение в соучастии с Ударцевым.

«— Объясните: почему именно в вашем доме жена Ударцева нашла убежище?

— Клавдия ее привела. Баба моя. Очень она жалостливая баба.

— Ну, а как вы сами на это смотрите? Это очень серьезный для вас вопрос: как сами смотрите?

— Смотрю-то как? А вот спросить надо: хотя бы и в вашу избу, в дом ваш, женщина зайдет с тремя детишками — вы ее на мороз обратно выгоните, либо как?

— Спрашиваю — я. Отвечаете — вы. И только в том случае, если мой вопрос непонятен вам, вы имеете право еще раз меня переспросить.

— Вот он мне и непонятный, ваш вопрос. С тремя ребятишками бабу выгоните ночью, либо нет? Зимой?»

Но повесть «На Иртыше» написана позднее, уже после войны. В тридцатых же годах главные герои романов и повестей были преимущественно бездетными. Конфликты личного, семейного плана не играли в их жизни почти никакой роли. Вспомним: бездетными были Курилов из «Дороги на Океан» и Увадьев из «Соти» Леонида Леонова, главные герои из «Танкера «Дербента» Юрия Крымова и «Севастополь» Александра Малышко и десятки других.

Герой романа Федора Панферова «Бруски» Кирилл Ждаркин имеет сына, но все же его отцовские чувства на протяжении двух объемистых книг романа ограничиваются восклицанием «Ух ты, калачик!» над кроватью спящего ребенка. Когда Кирилл решает оставить Ульку, ни одна мысль о сыне не тревожит его души.

Что же, все эти крупные советские писатели упрощали жизнь, выхолащивали своих героев? Скорее здесь была другая причина. «Заостренные к мировой революции» прототипы литературных героев так мало занимались своими семьями, своим личным, что художнику просто невозможно было представить их с детьми, с женой, за каким-то обыденным (как у всех) делом. И уж совсем нельзя было допустить, чтоб семейные обстоятельства, жена, дети могли повлиять на поступки такого героя, как это произошло в повести «На Иртыше».

Мы не хотели даже мысли допустить, что в прекрасно устроенном нами советском обществе кто-то может страдать и мучиться, и падать духом.

Кто-то сказал, что наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Отдавая все силы строительству новой жизни, мы порой забывали для кого строим, кто будет жить в этом прекрасном здании будущего. Мы ж не для своих, персонально, детей строили. В те годы мы любили оперировать только крупными категориями: класс, народ, массы. Маленькому человеку уготована была лишь роль винтика большой государственной машины. Семья? —Что значила ее индивидуальная беда в масштабах борьбы за коммунизм? Вполне серьезно обсуждались даже проекты отмирания семьи. Мол, при коммунизме детей с двух лет будет целиком воспитывать государство, чтоб оградить от влияния вредных пережитков прошлого, еще гнездящихся в сознании некоторой части родителей, чтоб вырастить их идеальными людьми.

Конечно, выбросить за борт такие чувства как неразделенная любовь, ревность, горечь супружеской измены не решались даже самые левые поборники теории отмирания семьи. Но поддаваться этим чувствам, страдать от них считалось непозволительной для советского человека слабостью, слюнтяйством. Возьмем одну из наиболее популярных пьес того времени, пьесу Арбузова «Таня». Муж разлюбил героиню и она сама тихо уходит из его жизни, уезжает далеко на Север и находит счастье в труде. В романе В. Катаева «Время — вперед!» сходный конфликт решается еще проще.

Прораба Корнеева покидает любимая женщина. Он узнает это из записки за полтора часа до отправления поезда. Надо бы бросить все, бежать, уговорить, остановить, выслушать ее объяснения. Но коллектив ставит мировой рекорд, и он, прораб, ни на минуту не может отлучиться с площадки. В последнюю минуту он появляется в купе вагона, но о чем тут поговоришь, когда кругом пассажиры, а стрелки часов бегут, как нахлестанные.

«...Он понял, что все кончено. Она любила его, но только его (не его мировой рекорд).

Поезд тронулся. Он как сумасшедший кинулся из вагона.

Он стоял один на опустевшем пути и держал фуражку в откинутой назад руке».

Любовь, но ведь это любовь одного человека, а там коллектив строителей, и коллектив ставит мировой рекорд. Что по сравнению с этим крушение одной любви? Корнеев всей душой с коллективом и он мгновенно возвращается к делу:

«Ветер выдувал из открытых ворот пакгауза тучи цементной пыли.

Он вспомнил, что при таком темпе цемента хватит не больше чем на три, четыре часа и побежал к пакгаузу ускорить отправку.

Все же этим оправдалась его отлучка».

А семья, меж тем, жила по своим извечным законам, рожала и растила детей и порой жестоко мстила обществу за свою приниженность, недооценку. И тогда мы ахали изумленно:

— Такие родители и такой сын!

Художественная литература, как предмет человековедения, не могла, конечно, не откликнуться на такие остро конфликтные явления нашей жизни. Произведения, так или иначе затрагивающие эту тему, начали появляться еще до войны.

Опять-таки, одним из первых был тут Федор Гладков. В его втором романе «Энергия», написанном в начале тридцатых годов, действуют те же главные герои — Глеб и Даша Чумаловы. К тридцатым годам это уже не рабочий и делегатка, а крупные советские работники, уважаемые, до конца преданные своему делу люди, обнаруживают, что их единственный сын вырос чужим, непонятным для них человеком.

Кое-что в этом плане есть и в «Книге для родителей» Антона Макаренко, написанной в 1937 году, но особенно интересным, с этой точки зрения, мне кажется роман Веры Пановой «Времена года». У героини «Времен года» Дорофеи Куприяновой типичная для женщины двадцатых годов судьба. Она пришла в город неграмотной деревенской девчонкой и яростно кинулась в общественную работу, жила взахлеб.

«Жизнь была заполнена до краев. Дорофея работала и училась. Ее выдвигали, ее шлифовали, неустанно и терпеливо, как драгоценный камень. А рядом был дом на Разъезжей, семья, счастье и терзания материнства».

Не трудно подсчитать, сколько оставалось времени на семью, счастье и терзания материнства у коммунистки, ответственного работника, учащейся вечернего рабфака. И не удивительно, что Дорофея не заметила, когда ее любимый сын сформировался эгоистом.

«Незадолго до войны Геню чуть не исключили из комсомола. Школьная организация исключила с мотивировкой: «За противопоставление себя коллективу». Плохо учится, не выполняет комсомольских поручений, отказался идти на субботник сажать деревья, заявив: «Мне эти деревья не нужны: кому нужны, пусть те и сажают».

Но материнское сердце не хочет верить даже очевидному:

«— Матушки, целый список преступлений,— сказала Дорофея.— Про деревья — это же в запальчивости сказа-

но, раздражился и брякнул, не подумав, мальчик нервный... Задача комсомола воспитывать молодежь, а они отталкивают.

И все же не эти очень тревожные явления заставили нас с глубоким интересом вглядеться в личную, интимную жизнь человека, задуматься над тем, что же она такое, семья?

Я думаю, цену семьи и значение интимной жизни, мира личных чувств помогла нам понять война, суровое испытание на прочность. Ведь не Магнитку и не Днепрогэс, даже если он строил их своими руками, вспоминал солдат перед атакой! Ласковые руки матери в детстве, глаза жены в горестную минуту прощания, теплую тяжесть ребенка в отцовских ладонях, вот что видел, вспоминая, он в такой момент. Да ту березку возле хаты, которая теперь стала символом Родины. И эта березка, эти материнские руки защитили страну от фашистского нашествия наравне с броней прославленной уральской стали. А может, и надежнее стали. Недаром со скоростью весеннего пала распространялись по фронтам от Баренцова до Черного морей песни «Землянка», «Темная ночь», «Враги сожгли родную хату», еще нигде в то время не напечатанные. Они трогали, эти песни, такие струны, которые есть в сердце каждого солдата от маршала до повозочного полевой кухни. Они напоминали о том, чего действительно «в любых испытаниях у нас никому не отнять».

Напомню, как написано об этом в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия».

«И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...

...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни,— казалось, совсем одни на свете,— и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела — пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались!

Но больше всего, на веки вечные, запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!»

Разве мог так воспитанный сын отдать мать в рабство фашистам?

А вот о чем вспоминает накануне решительного боя лейтенант Андрей Щербатов из романа Григория Бакланова «Июль 41 года».

С первых сознательных дней он помнил холодок уважения, когда осторожно приоткрывая дверь, сам ниже ручки, прокрадывался к отцу в кабинет. Черные, клеенчатые (тогда они казались ему кожаными) кресла, крепкий запах табака, отцовская спина у стола в кресле — и тишина. Особенная тишина. А на стене сквозь дым блестело оружие. Отцовское оружие времен гражданской войны, которым он убивал врагов. Комбриг! Это его отец был комбриг. Потом начдив! Комкор! Как это звучало: «Начдив!» Чапаев был начдив.

Самое счастливое время было, когда отец возвращался с маневров, из летних лагерей. Еще в коридоре он поднимал Андрея на руки, пропахший пылью походов, принеся ее с собою на плечах гимнастерки, на сапогах. Жесткая отцовская щека пахла махорочным дымом. А может быть, это пахло пороховым дымом или дымом ночных солдатских костров.

Все товарищи знали этот день, когда

возвращался его отец. И они завидовали ему. А когда отца не было, он иногда тайком прокрадывался с ними в кабинет и там позволял им трогать на стене отцовское оружие. Только потрогать. Снять его оттуда он даже сам никогда не смел.. И мальчишки, дотянувшись с дивана, трогали рукой, и металлический холод отгремевшего оружия заставлял вздрагивать от счастья их маленькие воробьиные сердца.

Разве мог так воспитанный мальчик, а лейтенант Щербатов еще совсем мальчик, струсить перед фашистом, предать Родину, осрамить отца?

Война заставила признать решающую роль семьи, интимной жизни в воспитании человеческого характера, в логике человеческих поступков. Личная жизнь приобрела, наконец, право гражданства, и теперь уже самый заскорузлый сухарь, «закругляя» свою речь, не забудет пожелать вам «счастья в личной жизни». Этого не было двадцать и даже десять лет назад.

Ну, а художественная литература? Она откликнулась на эту жажду человеческой души рядом прекрасных произведений. Уже в первых послевоенных романах «Кавалер Золотой Звезды» Семена Бабаевского и «Журбины» Всеволода Кочетова подробно прослеживается влияние семьи, домашнего уклада на формирование характера главных героев. Собственно, это и есть главная тема романа «Журбины». Но романы эти широко известны, давно экранизированы, и я не буду на них останавливаться.

Много критических копий сломано по поводу романа Виталия Семина «Семеро в одном доме». Семина как в свое время Веру Панову, обвиняли в объективизме, в приземленном изображении нашей действительности, но так ли это? Слов нет, Виталий Семин берет жизнь не с казового конца. Он показывает быт окраины разоренного войной большого города. Сюда еще не дошло благоустройство и культура, каждый строит себе жилье как может. Здесь пьют и случаются поножовщины, но что искупает все темные пятна, так это яркий образ матери — главной героини романа. Это простая работница с фабрики кожгалантереи, рядовая, как говорится, женщина, порой сварливая, скорая на руку и на забористое словцо. Оставшись после войны с тремя детьми, она каждую кроху для семьи отвоевывает у жизни с бою. Ей ничего не дается даром, а когда дается—посватался благополучный вдовец — оказывается, она не может уйти из своего кой-как слепленного саманного домика потому, что теперь, когда дети выросли, она нужна внукам.

Много можно отыскать недостатков в романе Виталия Семина, но я бы их все простила за этот образ хранительницы семьи: женщины мужественной и самоотверженной. Ведь именно таким женщинам, больше чем прославленным героиням, страна обязана своей стойкостью и в войне, и в послевоенной разрухе, и в годы засухи, и прочих тяжких испытаниях военных и послевоенных. И в этом же ряду нельзя не назвать прекрасного романа Федора Абрамова «Две зимы и три лета». В центре романа семья пекашинских колхозников Пряслиных, осиротевшая уже в первый год войны. Тому, как жила, билась с нуждой на скудной северной земле колхозная деревня Пекашина и в ней пряслинская семья, посвящены лучшие, я бы сказала пронзительные, страницы романа. А ведь она не просто выжить старалась эта деревня Пекашина. Она должна была дать стране хлеб и за свои тощие суглинки, и за подмятые фашистской пятой плодородные поля Украины и Кубани, она должна была дать лес на восстановление разрушенных войной бесчисленных городов и сел, должна... Ох, да кто перечтет сейчас, чего только не должна была дать обезлюдевшая больше чем город деревня военных лет!

Старший в пряслинской семье четырнадцатилетний, а к концу войны восемнадцатилетний Мишка вовсе не ангел с крылышками. Он и выругает тяжким мужицким матом и подраться может, но он же и ворочает за взрослого да еще единственного мужика в обезлюдевшей к концу войны деревне. Мишка и рад бы сбежать от этой нечеловеческой работы, как бегает его приятель Егорка, но больная мать и многочисленные сестренки, братишки просто поумирают с голоду без него — старшего. Семья держит Михаила в деревне, но семья же и силы дает, те нравственные силы, которые возвышают человека.

Вот как описывает Федор Абрамов новый год в семье Пряслиных:

«А все-таки дед Мороз не обошел Пряслиных.

Ночью Михаил проснулся — стучат. Он спрыгнул с кровати, подбежал к боковому окошку; ткнулся разгоряченным лицом в заледенелое стекло. Никого. Неужели ему показалось?

И вдруг оттуда, с холода, донеслись притворно-жалобные слова:

— Пу-сти-те по-греть-ся...

— Мати, мати! Лизка приехала!

Лизке шестнадцать лет и приехала она на праздник с лесозаготовок, с тяжелой, мужской работы.

Ночная тишина в избе будто взорвалась. Анна со словами «иду, иду!» уже открывала двери (она-то, наверно, еще раньше его услыхала стук в окно), а на полатях, на печи загорланили ребята: «Лизка, Лиза приехала»...

Михаил кинулся искать спички.

В их семье не принято было обниматься и целоваться. Но когда из морозного облака над порогом вдруг блеснули знакомые глаза, густо запорошенные инеем, он не удержался — сгреб сестру в охапку.

— Лиза, Лиза, мине,— запричитала Танюха, слезая с печи.

И Лизка, протягивая к ней руки, расплакалась:

— Иди, иди, моя хорошая. По тебе-то я больше всех соскучилась!

А потом она обнимала остальных — Петьку и Гришку (эти обхватили ее оба вдруг), Федюху, насупленного, не спускавшего взгляда с корзины, которую вслед за Лизкой внесла в избу мать,— и для каждого находила особое словечко.

Лизку раздевали всей семьей. Кто стаскивал с ног обмерзлые валенки, кто расстегивал ватник, кто снимал с головы шаль. И она, растроганная, не привычная к такому вниманию, только качала головой:

— Я не знаю, вы со мной, как с маленькой. Я ведь не откуда приехала— из лесу.

В задосках зашумел самовар, и ребята, как по команде, уставились на корзину.

И корзина, та самая берестяная корзина, с которой раньше ездил в лес Михаил, раскрылась.

Буханка ржаного хлеба, другая. Сухари. И еще сахар — целую горку мелко наколотого сахара насыпала Лизка из мешочка на стол.

Ребята ахнули. А Михаил, растерянно моргая, только махнул рукой. Ну что тут скажешь? Не дура ли девка? Бывало, в лесу намерзнешься за день — только и радости чайку горячего попить, а если еще приведется огрызок сахара — праздник. А эта дура набитая... Ах...

И была зимняя ночь. И за окошком лютовал мороз — с треском, с яростью, как голодная собака, вгрызался в промерзшие углы.

А им — что! Им плевать и на ночь и на мороз. Красный самовар клокочет на столе.

Ешьте, пейте, ребята! Новый год идет по земле!»

В самом деле, какая сила может сломить эту семью? Нет такой силы!

Семья, крепкая, дружная, может дать силы для любых испытаний. Она же неладно устроенная, несложившая-

ся, может изломать жизнь. Ярко и талантливо показано это в небольшой повести Владимира Тендрякова «Поденка — век короткий». Героине повести работящей деревенской девушке Насте Сыроегиной, кажется, можно только позавидовать. О ней пишут в газетах, она сидит в президиумах, зарабатывает больше всех в деревне, может покупать себе дорогие наряды. Но Сыроегина одинока и несчастна:

«Насте нужно было счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как у Глашки, как у Павлы, чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтобы дети, чтоб семейным теплом была согрета изба, и мать на старости лет в приюте. Самое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Насти заело... И ни ряба, ни кривобока, нынче в колхозе мало кто зарабатывает больше ее».

И Настя горько бросает матери, которая, видя ее тоску, пытается как-то утешить; напоминает о высоком заработке и славе:

«— Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно пальто заробить? Потом спрятать и не надевать! Ломлю спину с утра до вечеру — для чего? Для кого? Для себя? — Не-ет, для свиней! Вот она долечка! Радуйся вместе со мной-то! Чего не радуешься?»

Когда к Насте сватается молодой и недалекий председатель сельсовета Коспя Неспанов, Настя понимает, что любит он не ее, а ее славу громкую, ее успехи. Но одиночество, тоска по семейному очагу заставляют ее обманывать самое себя, внушать себе, что здесь настоящее счастье. Однако в трудную минуту, когда надо либо проститься со славой лучшей свинарки области, либо пойти на преступление, трезвая Настя понимает, что муж ей в беде не опора:

«Кто она — простая баба, каких много. Сорвись — Костя потерпит, потерпит и за шапку. Он-то с образованием, книжки читает, статьи в газеты пишет, политические моменты в газетах освещает».

И страх снова оказаться одинокой толкает Настю Сыроегину на преступление, которого она, будь у нее крепкая семья, любящий муж,— никогда бы не совершила.

Прочтя эти произведения, вряд ли кто не задумается над своей семейной жизнью, не проведет известные параллели. Удачная семейная жизнь это половина, если не больше всего нашего счастья. На чем же стоит семья, в чем ее сила? Да, разумеется, на любви и уважении стоит всякая крепкая семья. Но почему же тогда в искусстве так мало отражена супружеская любовь? Даже Лев Толстой отмахнулся от этой темы сакраментальной фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга...» О чем же, мол, тут писать, если все одинаково? А так ли это? Разве нет в супружеской любви своих взлетов и падений, той красоты, глубины и яркости человеческих чувств, которая достойна внимания любого художника?

Почему же тогда образ верной жены, начиная с гомеровской Пенелопы, неизменно привлекал и привлекает внимание художников всех времен и народов? Верной, несмотря ни на что. Не в этом ли дело? Не сказался ли в этом тысячелетний патриархат: приниженное положение женщины в семье? Заметьте, как не равны в этом мужчина и женщина даже в нашей стране, где женское равноправие утверждено законом.

Редко кто станет насмехаться над женщиной, обманутой мужем. Скорее пожалеют. Откуда эта жалость? Да от убеждения, что женщина должна терпеть. Куда ей деваться? И как дружно мы все, во главе с парторгом, бросаемся «укреплять» семью, пошатнувшуюся из-за измены мужа. Даже когда хорошо знаем ее неустойчивость, когда уверены, что у него, у этого мужа, не последний грех.

А каким насмешкам подвергается обманутый муж! И уж мало у кого повер-

нется язык защищать его оскверненный семейный очаг. Оскорбленный муж сам решает, как ему поступить с этим очагом.

Разве таким своим отношением мы не отказываем женщине в праве на гордость, на чувство человеческого достоинства, на элементарную брезгливость, наконец. Молчаливо, но отказываем. Даже мы, советские люди. Потому что никакими, самыми прекрасными законами нельзя отменить тысячелетиями укреплявшиеся предрассудки. Истинное равноправие женщины в обществе вопрос культуры общества. Чем культура выше, тем меньше предрассудков.

Но вот чем встревожены сейчас социологи всех стран мира. Стал непрочен брак, растет число разводов. Кое-кто пытается объяснить это падением нравов. Вряд ли это так. Разве вековавшие в восточных странах многоженство, а в западных узаконенная проституция чище, нравственнее развода? Нет, конечно. Думается, многое здесь зависит от женской эмансипации. Об этом же, мне кажется, говорит и статистика разводов. Она утверждает, что больше половины браков рушатся по инициативе женщин. Оно и понятно. Женщина — полноправный участник трудового процесса — не хочет больше мириться со своим неравноправным положением в семье. Идет ли дело о бытовых семейных обязанностях, о воспитании детей или о супружеской верности, женщина уже не терпит неравенства и без былого страха разрывает такой союз. Здесь мужчинам, да и обществу в целом, наверное, предстоит пережить немало трудностей и многое переоценить. Художникам тоже. Верный муж не менее достоин их внимания, чем верная жена. Надо уметь показать красоту проверенного временем чувства, его благородство и непреходящую ценность. Приятно отметить, что в советской литературе в этом направлении уже кое-что сделано. Можно отметить роман Галины Николаевой «Жатва», «Семейное счастье» Фриды Вигдоровой, но мне хочется остановиться на той же полюбившейся мне повести «На Иртыше» Сергея Залыгина. Уже из приведенного ранее ночного разговора Степана Чаузова с женой видно, как она дорога для него.

«Страшно вдруг стало, что Клашка сейчас опять свесит ноги с постели, потом встанет пошатываясь и уйдет. Страшно стало остаться одному». Степан не может уснуть, пораженный чудом близости, родственности двух человеческих душ:

«Ну вот, она лежит рядом — Клаша. Жена.

Тихая, бессловесная. Убивай ее сейчас — не заревет, не заголосит.

С самого того дня, как вызвал он ее из малухи-развалюшки, и до самой смерти, она к нему привязанная... Сейчас ей бы кричать в голос обо всей его и ее жизни, о ребятишках ихних. Ей бы сейчас клясть, упрекать, уговаривать, — молчит.

Сколько же ночей пролежала она рядом с ним — с трезвым и пьяным, со спящим и с бессонным, когда тревога какая нападала на него или забота?

Все заботы, и тревоги, и зависть, какая была, и злость, и корысть — все-все пересказывал он Клашке длинными зимними ночами. Все слова, которые были отпущены ему, чтобы он сказал их людям, говорил он только ей одной. На людях — слушал и, слушая, думал, что и как следует сказать в ответ на речи Хромого Нечая, как нужно с Фофаном побеседовать об пашне и об ягодниках, но все, что собирался, все, что мог он сказать им, опять же говорил Клашке.

И вот она молчит сейчас, ничего ему о себе не объясняет, ничего о нем не спрашивает.

Лежи и ты молча и думай: то ли жизнь живешь не по-человечьи, то ли жизнь вертится вокруг тебя какая-то нечеловеческая?

Лежи с женой рядом, будто неженатый какой мужик... А в неженатом мужичьего—чуть, одна капля. Капля эта такого мужика мутит, он с нее, с одной капли, водку пьет, в карты играет, в драку лезет, и все — над самим собой в насмешку. Таловый это мужик получается. Растет дерево, а еще растет на мокрой земле тальник — в печи жару не дает, креста на могилку и то из него не изладишь, не то что для службы поделку...

Лежи и думай: а что за баба рядом с тобой? Что за судьба у нее через тебя сложилась?

Бабья судьба всегда надвое делится: одна живет с мужиком, другая — за мужиком. Огромная эта разница — с им живет либо за им. Который мужик бабу свою каждый божий день вот так-то за волосенки волочит, а думает: она за им живет. А она — только с им, не более того. Баба тогда только взаправдишная, душой привязанная, когда она себя за тобой чует. Тут, из-за спины твоей, она и то достанет, чего тебе самому в руки не дается. Тут-то она тебя мужиком и делает».

Немало проникновенных страниц о супружеской любви в талантливой повести иркутского писателя Валентина Распутина «Деньги для Марии». Из любви к своей жене герой повести Кузьма не только принимает на себя всю тяжесть свалившейся на нее беды, но и ломает свою гордость, свой довольно крутой и сложный характер.

Сначала он думает, что спасет жену от грозящей ей тюрьмы только ради четверых детей, но потом неожиданно для себя открывает, что жизнь без Марии ему не нужна, не интересна.

Но особенно поэтично, выразительно показана супружеская любовь в повести Василия Белова «Привычное дело».

Речь в повести идет о любви немолодого уже, трудно живущего колхозника и его жены, матери-героини. Но вот посмотрите какие краски нашел Василий Белов для описания этого чувства:

«Иван Африканович был не очень тепло одет и только приговаривал: «Ох ты, беда какая, ох и беда!» Он и сам не знал, вслух ли это говорилось или только мысленно, потому что если бы вслух, то все равно голос был не слышен. Щупая ольховой палкой дорогу, избочась и разрезая плечом налетающий рывками воздух, он с трудом шел к лесу. Иногда ветер заливал дыхание. Тогда Иван Африканович, как утопающий, крутил головой, искал удобного положения, чтобы вдохнуть воздух, и чувствовал, как ослабевают коленки во время задержки дыхания. Он знал, что в лесу дорога лучше и ветер тише.

Шел очень медленно и с закрытыми глазами. Когда палка уходила глубоко в снег, он брал два шага влево, потом четыре вправо, если дороги левее не было.

Ветряным холодом давно выдуло остатки вчерашнего похмелья: «Ох, Катерина, Катерина...— мысленно говорил Иван Африканович.— Да что же это... Уехала, увезли. Как ты одна без меня-то?..»

Тосковал он взаправду. После того как прибежал из сосновской бани и не застал жену дома, он, не слушая тещу, кинулся вслед Катерине. «Бес с ним, с мерином, и с товаром, разберутся. А какое ты дураково поле, Иван Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли родить, увезли чужие люди, а он, дураково поле, ночевал в бане. Некому бить, некому хлестать». Так размышлял Иван Африканович и понемногу успокаивался. Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и жалостью к Катерине. Он пробежал через Сосновку и даже не вспомнил про ночное происшествие. Скорее, скорее: «Катерина. Увезли родить, девятый по счету, все мал мала меньше».

А какой пронизывающей любовью и печалью наполнены раздумья Ивана Африкановича на могиле Катерины:

«Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведал тебя, все то это, то

другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенями рябину-то рвать. Как без тебя живу? Так и живу, стал видно, привыкать... Я ведь, Катя, и не пью теперича, постарел, да и неохота стало. Ты, бывало, ругала меня... Ребята все живы, здоровы..

Вот, девка, вишь как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот один теперь... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал за тобой следом... А вот оклемался... А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что... Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит... такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж... да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда... Катя... Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то... Мне-то чего... Ну... что теперече... вон рябины тебе принес... Катя, голубушка»...

Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, еще не обросшей травой земле,— никто этого не видел».

Если задача литературы будить в людях добрые чувства, то Василий Белов выполнил ее прекрасно. Прочтя «Даму с собачкой», Горький писал Чехову: «Черт знает, что вы делаете своим рассказом, хочется бросить жену, бежать за какой-то прекрасной женщиной». Прочтя повесть Василия Белого, хочется стать нежнее, вернее. Хочется стать лучше. Горько жаль минут и дней, потраченных на мелкие ссоры, и видишь, как много будничного, мелочного порой застит нам глаза и мешает гореть, ярко гореть той любви, которая есть или была у каждой супружеской пары.

ЯРОСЛАВ ГАШЕК — РЕДАКТОР БУРЯТСКОЙ ГАЗЕТЫ «УР»

(К 50-летию выхода первого номера газеты)

«Гашек дал Швейку жизнь, а Швейк Гашеку бессмертие» — писала как-то газета «Известия».

«Бравый солдат Швейк! Кто же не знает этого литературного героя, с его неиссякаемым юмором, народной хитростью и мудростью»? Но меньше известно, как замечательный чешский писатель стал борцом за власть Советов в России.

И еще меньше, вернее, совершенно неизвестно многим, о том, что Ярослав Гашек редактировал бурятскую советскую газету и издавал бурятские книги...

Те, кто читал роман бурятского писателя Иосифа Тугутова «На четырех ветрах», возможно, удивлялись, встретив среди персонажей книги — Ярослава Гашека, который навещает в больнице главного героя романа «На четырех ветрах» Баира Саганова. Мы не беремся судить о достоверности ситуации, созданной писателем. Роман — не страницы популярного учебника истории, а художественное произведение. И автор волен в своей творческой фантазии населять свое сочинение нужными по сюжету персонажами.

Но вот перед нами исследование историка, в котором строго документирована каждая строка. Опираясь на это исследование — работу историка Б. С. Санжеева «Ярослав Гашек — активный участник борьбы за упрочение Советской власти в Восточной Сибири», мы и расскажем о Гашеке — редакторе бурятской газеты.

Пятьдесят лет вназад, где-то в первой половине сентября 1920 года в армейской типографии Политотдела

5-й Армии, по улице Красной Звезды в Иркутске, была отпечатана первая советская газета на бурятском языке. Газета называлась «Ур», что в переводе означает «Рассвет». Редактором газеты был чех — интернационалист, начальник интернационального отделения Политотдела 5-й Армии (ПОАРМ-5) Ярослав Гашек.

Зимой 1918 года Гашек как журналист и агитатор несколько месяцев работал в Москве в редакции чехословацкой газеты «Прукопник». В октябре 1918 г. Гашек прибыл в распоряжение ПОАРМ-5 Восточного фронта, выполнявшей задание верховного командования по ликвидации чехословацкого мятежа. С этой армией в 1918—1920 гг. Гашек прошел славный боевой путь через Уфу, Омск, Красноярск, Иркутск. Позднее Ярослав в одном из писем к своему другу писал об этом так: «От Симбирска до Иркутска я прошел путь с Красной Армией, где выполнял различные партийные и административные задания».

Какие же это были задания? Документы той поры свидетельствуют, что Гашек выполнял весьма ответственную партийную работу, он являлся секретарем партийных организаций воинских подразделений, преподавателем политшколы и, наконец, начальником интернационального отделения Политотдела 5-й Армии. Но это не все, что делал Гашек. Он являлся активнейшим сотрудником и редактором нескольких фронтовых газет и журналов: «Наш путь» — (фронтовая красноармейская газета. Орган ПОАРМ-5); «Красный стрелок» (1919 г.) — фронтовая красноармейская газета; журнал «Вестник ПОАРМ-5» (1920 г.), газета «Красная Европа» (1919 г.), издававшаяся на русском языке, немецком и венгерском языках для иностранных коммунистов в России, и других изданий.

В известном теперь письме своему другу Салату Петрлику 17 сентября 1920 года Ярослав Гашек с веселым юмором писал: «В настоящее время я работаю начальником организационного отдела 5-й Армии и одновременно редактор и издатель трех газет: немецкой «Штурм», в которую сам пишу статьи, мадьярской «Рогам», в которой у меня есть сотрудники, и бурят-монгольской «Пламя»[1], в которую пишу все статьи, не пугайтесь, не по-монгольски, а по-русски,— у меня есть переводчики...».

Кто же они переводчики, сотрудники Ярослава Гашека по редакции бурятской газеты? Это очень любопытные факты из истории бурятской периодики.

В иркутских архивах хранятся интересные документы, рассказывающие предысторию издания бурятской газеты «Ур».

Официальное письмо ПОАРМа-5 в адрес Иркутского губревкома с датой 30 июня 1920 года гласит:

«Политотдел 5-й Армии просит губревком дать предписание ангарскому аймачному ревкому о немедленной отправке гр. Тунханова Иннокентия Ивановича для ра-

[1] Иногда «Ур» переводят по-русски как «Пламя».

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

В НЕУМИРАЮЩИХ МЕЧТАХ

В становлении, укреплении и защите Советской власти в России руководящую роль под водительством великого Ленина играли ближайшие его ученики и соратники, профессиональные революционеры-большевики. Однако Великая Октябрьская революция выдвинула много молодых революционеров-энтузиастов, вступивших в ряды большевиков в 1917 — 1918 гг. Жизни и деятельности одного из таких молодых коммунистов Федора Матвеевича Лыткина посвящена повесть Ю. Сальникова «В неумирающих мечтах»[1].

Федор Матвеевич Лыткин. Уже в 20-летнем возрасте он был избран на II съезде Советов Сибири в состав ЦИК Советов Сибири (Центросибири) и занял пост заместителя председателя Центросибири и члена Сибирского военного комиссариата.

Он работал вместе с Н. Н. Яковлевым, председателем Центросибири, который был лично известен В. И. Ленину, и другими опытными партийными деятелями того времени. Вме-

[1] Юрий Сальников. В неумирающих мечтах. Документальная повесть. «Сибирские огни», 1969, № 4 и 5.

сте с ним была в Центросибири группа сверстников: П. Ф. Парняков, занимавший пост комиссара просвещения Сибири, С. Г. Лазо, командовавший советскими войсками Забайкальского фронта против банд атамана Семенова.

Книга хорошо передает дух времени, показывает, что высокое выдвижение Ф. Лыткина не было случайностью. Еще будучи гимназистом, Лыткин участвовал в создании и руководстве подпольной социал-демократической ученической организацией в Иркутске и был членом редколлегии ее журнала «Наша работа», выпускавшегося в 1915 году на гектографе тиражом 100 экземпляров. В 1917 году он, будучи студентом Томского университета, вступил в ряды большевистской партии, участвовал в организации Советской власти в Томске и в формировании Красной гвардии. Он был избран в члены Томского горсовета и затем — делегатом на II съезд Советов Сибири.

В повести детально освещается революционная деятельность Федора Лыткина и ярко рисуется его образ не только как партийного и советского деятеля, но и как талантливого поэта.

Еще 16-летним юношей он написал стихи для изданного в Иркутске в 1914 году сборника «Первый подснежник». Его стихотворения того времени отражают неудовлетворенность революционной молодежи обывательской застойностью общественной жизни и стремление к революционному выходу из тисков царизма. Среди сти-

боты по изданию газеты на бурятском языке». Подписи: Замначпоарм-5 Э. Кальман. Нач. интернацотделения Гашек»[1].

Кто же такой Тунханов? Этот вопрос был задан авторам письма Иркутским губревкомом. ПОАРМ-5 ответил. Тогда на свет появилось второе письмо ПОАРМ-5. В этом, втором письме, также подписанном Ярославом Гашеком, как начальником интернационального отделения Политотдела 5-й Армии, и датированном 2 августа 1920 года, читаем:

«Для справки сообщаю, что гр. Тунханов Иннокентий не служил в ангарском аймачном ревкоме и не занимался никакими делами. Он нам нужен как технический сотрудник на издание бурятских газет (обратите внимание: «газет» — сказано во множественном числе.— М. С.), так как он специалист по бурятско-монгольским языкам. Его никак сюда не притащишь, а поэтому за ним посылаем, что нужно оформить через ангарский аймачный ревком»[2].

7 августа 1920 года ангарский аймисполком сообщал в Иркутский губревком, что гражданин Тунханов «передан аймревкомом в распоряжение Политотдела 5 Армии через инструктора-агитатора интернационального отделения ПОАРМа Волушека Алексея для работы по изданию газеты на бурятском языке».[3]

Иннокентий Иванович Тунханов был затем «зачислен на должность инструктора-агитатора интернационального отделения» и занимался переводом материалов для бурятской газеты «Ур». Но не один Тунханов работал в редакции «Ура». Как свидетельствовал в беседе с историком Г. Санжеевым заместитель начальника Политотдела 5-й Армии в те годы товарищ Эрнст Кальман (за подписью которого было направлено вышеупомянутое письмо в Иркутской губревком),— в качестве переводчиков в редакции «Ура» сотрудничали еще двое бурят— студенты, имен которых Э. Кальман не назвал.

Историк Г. Санжеев высказывает вполне реальное предположение, что в издании бурятской газеты «Ур» участвовали и еще двое бурят — работавшие инструкторами-агитаторами в интернациональном отделении Политотдела Пятой Армии. Это — Д. Дамдинцыренов и Ардан Маркизов. (Впоследствии — Ардан Ангадыкович Маркизов являлся видным партийным и советским работником Бурятской АССР.)

Видимо, были у Политотдела 5-й Армии и еще сотрудники из бурят как газеты «Ур», так и других печатных изданий на бурятском языке, выходивших под грифом Политотдела 5-й Армии. Это, например, находит свое подтверждение в таком факте.

«12 августа 1920 года Политотдел 5-й Армии обратился со специальной телеграммой в Восточную секцию

---

[1] Государственный архив Иркутской области—ГАИО, ф. 42, св. 12, д. 167, л. 137.
[2] Там же.
[3] Там же, л. 147.

ЦК РКП(б) и Политуправление Реввоенсовета Республики с просьбой содействовать в направлении в Иркутск коммунистов, знающих бурятский и монгольский языки, лингвистов, а также отправке (соответствующих) шрифтов»[1].

Что еще стало известно из розысков Г. Санжеева в иркутских архивах об «Уре»? Это, прежде всего, о времени выхода газеты в свет.

В «Бюллетенях Политотдела 5-й Армии», без сомнения, издававшихся при участии Ярослава Гашека, за август 1920 года отмечалось, как факт большого политического значения, что подготовлен к изданию первый номер газеты «Ур» на бурятском языке. Из отчетов интернационального отделения Политотдела 5-й Армии установлено, что первый номер газеты «Ур» вышел в сентябре, а следующий номер — в октябре 1920 года.

Каков был тираж этой газеты? 25000 экземпляров. Газета печаталась на монгольском и русском алфавитах. Из этого факта — можно сделать вывод: «Ур» распространялся не только среди западных бурят (в Иркутской губернии), где был принят в бурятских изданиях русский алфавит, но и среди восточных бурят. А это значит, что советская газета Политотдела 5-й Армии пересылалась соседям — в буферную Дальневосточную Республику (ДВР) — селенгинским, хоринским, а возможно, и агинским бурятам — среди которых бытовала письменность на старомонгольском (вертикальном) алфавите.

Как видим, география бурятской газеты «Ур» довольно обширна.

О чем же писала газета? До нас не дошел ни один номер «Ура». Во всяком случае, ни в архивах, ни в книгохранилищах Москвы, Иркутска, Улан-Удэ нет ни одного экземпляра. К сожалению, поиски этого редчайшего и такого значительного для нас издания пока остаются безуспешными.

Но не только бурятскую газету издавало интернациональное отделение армейского политотдела. Им были изданы и, конечно, надо предполагать не без участия Ярослава Гашека, на бурятском языке еще букварь и грамматика бурятского языка. И эти книги также не розысканы.

Сколько же вышло всего номеров газеты «Ур»? Пока — неизвестно. Что стало в дальнейшем с газетой?

Г. Санжеев в своей работе на это отвечает такими строками:

«В дальнейшем все это издание (т. е. издание на бурятском языке.— М. С.), включая и газету, было передано в ведение секции народов Востока[2]. И. И. Тунханов приказом по Политотделу 5-й Армии от 19 октября 1920 года, т. е. за 5 дней до выезда Гашека из Иркутска,

---

[1] ЦГАСА, ф. 185, оп. 2, д. 172, л. 322.

[2] Т. е. секции восточных народов Сиббюро ЦК РКП(б) — находилась в Иркутске.

хов юного поэта были, например, такие:

Грозы я жду! В безгранном мире
Мне душно, пленнику цепей.
Как жаждут воли и лучей
Темницы затхлые Сибири,
Я жажду бурь и непогоды
Для счастья родины моей!

Весть о свержении самодержавия революционный поэт воспринял с восторгом и посвятил этому событию стихотворение, в котором были слова:

Чудесной радостью сияя,
Взошла свободная заря!
Народ от края и до края
Воспрянул вмиг — и нет царя!
И трон растоптан Николая!

Повесть широко показывает события тех героических лет, острую классовую борьбу. В Томске, где Ф. Лыткин был членом горсовета, в декабре 1917 года контрреволюционеры организовали поджог здания, в котором происходило заседание. На заседании присутствовало около ста членов Совета и до 300 приглашенных рабочих и солдат. От внезапно возникшего пожара обрушился потолок зала, погибло несколько человек, многие получили увечья, пострадал и Ф. Лыткин.

В январе 1918 года Томским Советом была разогнана так называемая Сибирская дума — контрреволюционная областническая организация, провозгласившая себя сибирским правительством в противовес Центросибири. В разгоне этой думы и аресте сформированного ею правоэсеровского совета министров активно участвовал Ф. Лыткин. В начале 1918 года в Забайкалье вторглись из Маньчжурии белобанды атамана Семенова, сформированные и вооруженные японскими и другими империалистами. Ф. Лыткин как

член Сибвоенкомата участвует в организации борьбы с семеновцами. В конце мая 1918 года вспыхивает организованный империалистами мятеж чехословацкого корпуса, в результате которого Западная Сибирь оказалась в руках белогвардейцев, а Иркутск и Дальний Восток потеряли связь с центрами Советской России. Возник новый фронт — Нижнеудинский, затем Прибайкальский, и Ф. Лыткин участвует в боевых операциях в качестве члена Военсовета и редактора фронтовой газеты «Красноармеец».

Повесть заканчивается описанием трагической гибели Федора Лыткина, Н. Н. Яковлева и некоторых других работников Центросибири в якутской тайге в ноябре 1918 года.

Автор строит свое повествование на обширном документальном материале, на сообщениях прессы тех лет, и поэтому его книга, написанная с большим художественным мастерством, имеет не только значительное литературное звучание, но и представляет научно-исторический интерес, так как дает немало достоверных материалов по истории партийных и советских организаций Сибири в 1917 — 1918 гг. и некоторые данные о подпольных молодежных организациях в дореволюционное время.

Г. А. Р Ж А Н О В,
член КПСС с 1915 г.,
бывший редактор газеты «Советская культура»,
персональный пенсионер.

А. Т. Я К И М О В,
член КПСС с 1917 г.,
бывший член Центросибири,
кандидат исторических наук,
персональный пенсионер.

был откомандирован в распоряжение Иркутского губотдела народного образования».

Вот и все, что известно об «Уре». Можно добавить к этому еще, что на базе издания газеты «Ур» и других бурятских печатных изданий, выходивших в интернациональном отделении ПОАРМ-5 на старомонгольском (вертикальном) алфавите позднее в Иркутске стала издаваться монгольская газета «Монголын унэн». Эта газета начала выходить с 10 ноября 1920 года и пересылалась в МНР.

Следует думать, что и в ее создании какое-то участие принимал Ярослав Гашек.

Вот что, например, пишет в своих воспоминаниях Николай Евгеньевич Кузьян — первый секретарь первого бурятского обкома комсомола, а в то время, о котором идет речь, он работал секретарем Иркутского губкома РКСМ:

«Губкому комсомола нужно было достать несколько килограммов бумаги для печатания газеты (с бумагой тогда было очень трудно). С просьбой насчет бумаги я пришел к заместителю начальника Политотдела 5-й Армии Ярославу Гашеку... У него я встретил Чойбалсана и второго товарища из Монголии... О цели посещения монгольскими товарищами Ярослава Гашека я мог только предполагать. Я. Гашек был начальником интернационального отделения Политотдела армии, директором армейской типографии, редактором сразу трех армейских газет: на немецком, венгерском и бурятском языках. Для меня совершенно было ясно лишь одно, что здесь, у Ярослава Гашека, монгольские товарищи так или иначе так же учились и готовились к боевым революционным делам в Монголии...»[1].

Встречался в это время в Иркутске Ярослав Гашек и с национальным героем монгольского народа Сухэ-Батором. В числе ораторов, выступавших со словами приветствия 3-й губернской партийной конференции иркутской организации РКП(б) в сентябре 1920 года, были Сухэ-Батор и Ярослав Гашек.

Наше предположение об участии Я. Гашека в подготовке к изданию монгольской газеты находит свое подтверждение и в другом источнике. В книге «Первые газеты революционной Монголии» ее автор Г. Н. Заятуев пишет:

«...Не подлежит сомнению, что издание этой газеты (т. е. «Монголын унэн».— М. С.) было связано с приездом Сухэ-Батора, Чойбалсана и других монгольских революционеров в Иркутск...» А в Иркутске всей печатной базой ведал тогда Ярослав Гашек.

М. С п е к т о р.

г. Улан-Удэ.

---

[1] Н. К у з ь я н. Памятные встречи. «Сов. молодежь», (Иркутск), 1960, 3 июля.

И. Ю. ХАРКЕЕВИЧ

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА В ИРКУТСКЕ

Работая с фондами Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, сотрудники Иркутского областного архива обнаружили небольшую папку с документами, объединенными общим названием: «Собирание народных песен с мелодиями» [1]. Датированные 1901—1903 гг., документы связаны с вопросом издания сборника песен, собранных в Восточной Сибири иркутянином Протасовым. Среди нескольких заявлений Протасова, копий писем ВСОРГО[1] в Петербург и некоторых других документов поражает своей неожиданностью подлинное письмо Н. А. Римского-Корсакова[2] следующего содержания:

«Восточно-Сибирский отдел Императорского русского географического общества. Имею честь сообщить Восточно-Сибирскому отделу Императорского русского географического общества, что присланный мне при письме от 11 мая 1901 года [№ 214] сборник народных песен Сибири, записанных Протасовым, я передал Председателю Песенной комиссии при Географическом обществе тайному советнику Александру Сергеевичу Танееву, который благосклонно принял на себя заботы о его рассмотрении и издании, о чем непосредственно хотел снестись с Восточно-Сибирским отделом. Рукопись сборника находится в настоящее время у него.

Профессор С-Петербургской консерватории Н. Римский-Корсаков.

12 ноября 1901 года. С-Петербург» [1, л. 7].

Ценен не только сам факт существования в Иркутске автографа знаменитого композитора. Письмо воскрешает одну из забытых страниц истории сибирской культуры, побуждает к выяснению вопроса о личности Протасова и его деятельности, ибо все, что касается собирания народных песен в дореволюционной Сибири, представляет огромный интерес. Фактических данных архива Иркутской области оказалось явно недостаточно. В исторических материалах, которые автору настоящей статьи удалось отыскать дополнительно [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17], Николай Петрович Протасов предстает как истинный патриот Сибири, с фанатическим энтузиазмом стремившийся сохранить ее самобытную культуру, как человек яркой индивидуальности, интересной жизненной судьбы. Он родился в 1865 г. в крестьянской семье, начальное образование получил в Иркутском уездном училище и много лет служил приказчиком в разных торговых фирмах. Выполняя поручения этих фирм, он побывал во многих местах Восточной Сибири, хорошо узнав жизнь, быт и культуру населения сел и деревень края. Отличительными чертами характера Н. П. Протасова были общительность и любознательность; благодаря им он сумел восполнить пробелы своего школьного образования и приобрести известность среди иркутских ученых.

Будучи действительным членом ВСОРГО, Протасов входил в состав его Распорядительного комитета и в состав комиссии по заведыванию музеем отдела. Он передал музею собранные им этнографические и археологические находки, занимался разборкой и описанием археологических коллекций, принимал участие в руководстве воскресными экскурсиями в музее [2, 131; 8, 324, 16—17].

Кроме того, Н. П. Протасов был членом-учредителем Иркутского отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, членом комитета Иркутской ученой архивной комиссии, членом комитета по открытию в Иркутске церковно-археологического общества [4, 219]. Он сотрудничал в журнале «Сибирский архив», где помещены его заметки «Из бурятских сказаний». (5). И, наконец, с его именем связано начало работ в области музыкальной этнографии Восточной Сибири. По свидетельству видного советского этнографа Г. С. Виноградова,

---

[1] Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества.

[2] Эту интереснейшую находку сделала сотрудница ГАИО Р. А. Андреева.

Протасов был первым собирателем народного творчества, записывавшим в наших краях не только поэтические тексты песен, но и их мелодии [6, 22—23].

По воле случая Н. П. Протасов попадает в число певчих архиерейского хора в Иркутске и становится младшим клириком. Надо полагать, что этот крестьянин сибиряк был человеком музыкально-одаренным, если пение в хоре оказалось для него достаточной подготовкой для того, чтобы успешно справиться с нелегким для непрофессионального музыканта делом: записыванием на слух с голосов народных певцов песенных мелодий.

В своем интересном и подробном отчете под названием «Как я записывал народные песни» Н. П. Протасов пишет:

«В 1899 г,. по инициативе председателя этнографической секции Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Першина, я начал заниматься записыванием народных песен Сибири с их мотивами. Первые работы мои в этом направлении были начаты в более глубоких местах по рекам Ангаре и Илиму, где жизнь народа, его обычаи и обряды еще не утратили той первобытной прелести и оригинальности, которые были принесены в Сибирь первыми насельниками ее в XVI—XVII столетиях. Здесь я рассчитывал встретить чисто древнерусскую мелодию... Расчеты мои оказались верными и в течение лета 1900 г. мною было записано около 100 мелодий, которые распределялись в следующем порядке: причети 11, свадебных 8, величальных 3, хороводных 11, плясовых 9, троицких 5, святочных 3, подблюдных 3, проголосных 36, рекрутских 5, разбойничьих 1, арестантских 2. Можно было бы записать далеко больше, но, во-первых, я старался записывать только те песни, которые, по моему крайнему разумению, были более древние и при том обладали более богатым содержанием текста и музыкальных красот; во-вторых, отчасти мешали мои служебные обязанности всецело отдаться делу записывания мелодий... Днем работать мне положительно не удавалось; только с 6—7 часов вечера, освободившись от службы, я в каждом селе отправлялся на вечерки или на полянки (лужанки); там, участвуя сам в пении, я заучивал мелодии на память, а тексты записывал за какою-либо из певиц. Для того же, чтобы записать свадебные песни в том исполнении, в каком они поются на свадьбах, я сам участвовал в нескольких местах на крестьянских свадьбах, и этот способ записывания считаю лучшим, потому что сибиряк, живя по большей части в глухой тайге, от природы скрытен, и постороннему человеку вызвать его на разговоры не так-то легко, а тем более заставить изливать свою душу в песнях» [7, 131—132].

Собранные песни Н. П. Протасов оформил в рукописный сборник, включавший в себя, предположительно, 97 песен, записанных не только в Иркутской губернии, но и в Забайкалье у семейских.

Семейские — это группа русского населения, живущая ныне в Бурятской АССР. Предки семейских, русские старообрядцы, спасаясь от преследований царского правительства, переселялись в XVII — начале XVIII в. в Польшу — в Стародубье и Ветку. После присоединения этих областей к России во второй половине XVIII века значительная часть старообрядцев была выселена Екатериной II в Забайкалье, где они получили наименование семейских[1] [9, 4]. Живя отдельной изолированной общиной, семейские в своей материальной культуре сохраняли много великорусских черт (например, срубную избу, особую красочность одежды), а в песенной культуре продолжали традиции старинной крестьянской песни, сложившейся в давние времена в Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской губерниях, выходцами из которых были семейские[2] [8, 2—7, 68].

Рукописный сборник русских народных песен, переданный Протасовым в марте 1901 г. Восточно-Сибирскому отделу РГО, не мог быть издан в Иркутске, так как у отдела в то время не оказалось средств: с согласия автора, рукопись в мае того же года была отослана в Петербург Н. А. Римскому-Корсакову. В сопроводительном письме отдел просил композитора «рассмотреть материал г. Протасова, дать о нем свой отзыв и, в случае благоприятного о нем мнения, не отказаться найти подходящего издателя» [1, л. 12].

---

[1] Название это, вероятно, происходит от слова «семья»: в далекий сибирский край русские старообрядцы переселялись целыми семьями (8, 69).

[2] В настоящее время в Улан-Удэ живет около 70 тысяч потомков семейских. В 1967 г. здесь был создан Забайкальский семейский народный хор, пользующийся большой популярностью (художественный руководитель Н. И. Дорофеев) (10, 100).

Приведенное выше письмо Н. А. Римского-Корсакова — его ответ ВСОРГО. Был ли этот ответ единственным, точно не установлено. По дважды встречающемуся в документах утверждению Н. П. Протасова, раньше этого письма во ВСОРГО якобы было получено другое, в котором «профессор Римский-Корсаков сообщил, что при беглом просмотре сборника он нашел в песнях признаки древней чистой русской мелодии, представляющие из себя ценный вклад в литературу по народному творчеству» [7, 132; 1, л. 23]. Однако найти это письмо в иркутских архивах не удалось. Возможно, что оно оставалось у Протасова.

Итак, судьбу песенного сборника Н. П. Протасова должен был решать А. С. Танеев, которому, как явствует из ноябрьского письма Римского-Корсакова, композитор передал сборник, считая, очевидно, песни достойными издания.

Александра Сергеевича Танеева не следует путать со всемирно известным композитором и музыкальным ученым Сергеем Ивановичем Танеевым — создателем оперы «Орестея», кантаты «Иоанн Дамаскин», замечательных симфонических и камерных сочинений, автором солидных научных трудов в области полифонии. Александр Сергеевич Танеев — родной дядя Сергея Ивановича. Он окончил Петербургский университет и, состоя на государственной службе, достиг высоких чинов, заняв пост главноуправляющего императорской канцелярией. Обладая музыкальными способностями, он учился композиции в Дрездене у Ф. Рейхеля, в Петербурге — у Римского-Корсакова и Алексея Петрова. Некоторые сочинения А. С. Танеева в разных жанрах были изданы [II, 1247], но широкой известности не приобрели.

В мае 1903 г. ВСОРГО получил из Петербурга изданный Песенной комиссией сборник под названием: «20 народных песен Сибири для одного голоса с сопровождением фортепиано из собранных в 1900 г. в Иркутской губернии и Забайкальской области Н. П. Протасовым. Переложил Алексей Петров»[1].

Мы располагаем фотокопией этого сборника: ставший ныне библиографической редкостью, в Иркутске он пока не найден. Автору статьи посчастливилось обнаружить его в Москве, в Центральном музее музыкальной культуры им. Глинки[1] [14].

Сборник состоит из четырех разделов: Причеты свадебные. Свадебные песни. Хороводные. Проголосные.

В первых двух разделах помещено по 4 песни, в третьем — 7, в четвертом — 5. Из этих 20 опубликованных песен 11 записаны Протасовым в Иркутской губернии (села: Бельское, Янгуты, Оса, Кулда; деревни — Баклаши, Баранова[2]), 9 — в Забайкалье (г. Троицкосавск, деревня Томир, село Усть-Кяхта).

Не имея возможности сравнить песни в изданном и рукописном сборниках, невозможно судить о степени изменения песенных мелодий при гармонизации их Алексеем Петровым. И тут на помощь приходит сам Н. П. Протасов. Данное издание сборника явилось для него полной неожиданностью, так как Песенная комиссия и ее председатель А. С. Танеев, вопреки своему намерению[3], никаких предварительных переговоров об условиях публикации песен ни с ним, ни со ВСОРГО не вели. Человек вспыльчивый и неуравновешенный, он подает в Распорядительный комитет ВСОРГО полное возмущения заявление, в котором, в частности, сказано: «... предлагая свой труд, я считал его и считаю своей собственностью... права же издавать песни, собранные мной, безо всяких условий, тем паче выпусками, набранными из разных отделов моего сборника... никогда не давал, а также и на гармонизацию у меня никто согласия не спрашивал. На выпуске напечатано: «Переложил Петров», на самом же деле мелодии никто не перекладывал, а они есть... такие, какими записаны мной с голосов певцов и певиц» [1, 24]. Из последнего замечания следует, что мелодии песен в изданном сборнике никаким изменениям, по сравнению с записями Протасова, не подвергались; тем большую ценность это придает сборнику.

Когда в марте 1901 г. Протасов пред-

---

[1] Количество экземпляров сборника, присланных в Иркутск, неизвестно.

[1] Фотокопия сборника, изданного Песенной комиссией, хранится у И. Ю. Харкеевич *(прим. ред.)*.

[2] «Проголосная» песня «День ты мой, денечек» записана в Александровской центральной тюрьме Иркутской губернии (печально знаменитом Александровском централе).

[3] См. цитированное письмо Н. А. Римского-Корсакова.

ставил свою рукопись Восточно-Сибирскому отделу РГО, он писал в Распорядительный комитет, что задался целью собрать до 5 сборников русских народных мелодий и предлагал свои условия издания записываемых им песен. В качестве главного условия он указывал на «обеспеченность издания не одного сборника, а всех пяти по образцу сборников «Истомина и Дютша» [1, л. 24]. Очевидно он имел в виду сборник народных песен севера, записанных Ф. Истоминым (тексты) и Г. Дютшем (мелодии) и изданных Песенной комиссией в 1894 г. без гармонизации[1] [15]. Согласившись на отправку своего первого рукописного сборника в Петербург, Протасов надеялся, что А. С. Танеев договорится со ВСОРГО «о способе и условиях издания песен». Когда же он увидел, что Песенная комиссия по своему усмотрению опубликовала не все песни его сборника, а только незначительную их часть и притом с гармонизацией, сделанной без его ведома, он был возмущен и обижен. «Выпуск носит характер, как бы главный труд сделал Петров, а не я», пишет он в цитированном выше заявлении[2] [1, л. 24].

Справедливости ради надо сказать, что Алексей Петров бережно отнесся к первоисточнику. Созданное им фортепианное сопровождение к песенным мелодиям подчеркивает характерные музыкально-выразительные особенности каждой песни, но оно меньше всего носит характер «обработок». Это весьма скромная гармонизация, не претендующая на изысканность и яркость красок. Если проводить аналогии, то в принципах такой гармонизации нетрудно заметить много общего со сборником Н. А. Римского-Корсакова: «Сто русских народных песен» [16].

Жаль, что из 97 песен было издано только двадцать. Судьба остальных песен неизвестна. Естественно было предположить, что рукопись Протасова осталась в Песенной комиссии, но в архиве комиссии [16] ее не оказалось. Задача восстановления сборника была бы решена, если бы удалось найти черновики записей, безусловно, имевшихся у Протасова.

---

[1] Песни именно этого сборника и гармонизовал впоследствии М. А. Балакирев (см. 6).

[2] Действительно, на обложке и титульном листе сборника имя и фамилия Петрова напечатаны значительно крупнее, чем Протасова.

Увы, его архива не существует. Незадолго до своей смерти (а умер Н. П. Протасов 28 августа 1913 г. от туберкулеза гортани в возрасте 48 лет) он сжег все свои бумаги и документы [17, 82]. Члену ВСОРГО М. П. Овчинникову удалось спасти только один сборник песен, помеченный собирателем как «Второй». Он был составлен Протасовым в 1903 г. в результате его второй музыкально-этнографической экспедиции за Байкал, к семейским, где, как он верно понимал, «народная мелодия должна была сохраниться в наименее искаженном виде» [7, 132].

Летом 1901 г., получив от ВСОРГО специальную командировку и 250 рублей, Протасов отправился из Иркутска в Верхнеудинск и Тарбагатай; оттуда через Хонхолой, Куналей, Мухор-Шибирь, Бичуру, Окино-Ключи, Ургункуй, Томир и Дурены на Кяхту; отсюда через Селегинск обратно в Верхнеудинск и Иркутск. Весь путь протяженностью 1570 верст он проделал частью на лошадях, частью пешком за 30 дней, записав 145 песен в 21 населенном пункте [7, 132].

В этой экспедиции Протасов пользовался небольшим механическим фонографом, купленным им в Иркутске незадолго до отъезда. Он надеялся, по его словам, с помощью фонографа «наиболее точно записать гармонию народных песен, созданную самим народом и в его исполнении»[1]. Вот что рассказывает Николай Петрович о своем путешествии.

«Прибыв в село или деревню и остановившись на земской квартире, я старался разговориться с хозяином или хозяйкой, узнавал от них кто в их деревне лучший запевала или знаток песен... Узнав всех певцов данной деревни, я обыкновенно просил хозяина пригласить их ко мне, как к любителю старины и песен, побеседовать. Когда же приглашенные являлись, я заводил с ними разговор о их хозяйстве, земельных наделах, семейной жизни и т. п., потом незаметно переходил к обрядам старины и к песне. Сначала разговор наш бывал односложно натянутым, а затем постепенно оживлялся; когда же я объяснил, что я сам крестьянин-сибиряк, то мы быстро сближались и после часа такой откровенной беседы станови-

---

[1] Под «гармонией» Протасов, очевидно, подразумевает многоголосный склад протяжных песен, типичный для исполнительской манеры семейских.

лись уже своими людьми. Мне много помогали мои знания мест, сел и населения, которые я приобрел в течение многих лет, странствуя по Сибири пешком и на лошадях, и совершив до 45 тысяч верст. Во время беседы хозяева угощали нас чаем и закуской, а если тут были девицы, то и сластями — конфетами и пряниками, которыми я запасся в Верхнеудинске. Побеседовав о том, о сем, я переходил на песню, причем начинал сам петь старые песни и доказывать всю прелесть их, с чем все присутствующие обыкновенно соглашались... Пользуясь этим, я старался вызвать их на соревнование, и песня лилась рекой, спокойно, не вымученная, а чистая, светлая, исполняемая от избытка чувств. Похвалив какую-либо из песен, я просил повторить ее для того, чтобы заучить самому. В то же время рука моя, держащая карандаш, набрасывала песню на бумагу, а при следующих повторениях песня исправлялась окончательно.

На фонографе я записывал следующим образом. Когда соберутся певцы, то возьмешь фонограф, и поставишь его на видном месте. Певцы увидев его, заинтересуются и начнут спрашивать, что это за машина. Когда же скажешь, что эта машинка слушает людей и поет, и говорит человеческими голосами, то они начинают доказывать невозможность этого. Тогда предложишь им спеть какую-либо песню, они охотно соглашаются, и фонограф пишет. После каждой записи я обыкновенно переменял диафрагму, фонограф пел, певицы узнавали голоса друг друга и часто какая-либо из певиц с удивлением говорила подруге:

— Слухай, Анюха: Дуняшка-то как выводит!

Через 2—3 часа я уже в данной деревне пользовался особым доверием и тогда пели по моему желанию все, что угодно.

Всех певцов и певиц я дарил серебряными рублями, а одной старушке, спевшей мне 6 духовных стихов, подарил 2 золотых. Работать приходилось с 8 часов утра и до 8 и даже до 10 часов вечера, и когда я, покончив работу в одном селе, уезжал в следующее, то меня всегда провожала толпа нарядных певиц, желавших мне всех благ и приглашавших к ним напредки. В эту поездку мною записано... духовных стихов 9, причетей 8, песен свадебных 15, величальных 3, обрядовых: помочанских 1, пасхальных 3, троицких 3, хороводных 9, плясовых 12, шуточных 2, проголосных 60, рекрутских 5, арестантских 5, солдатских 10» [7, 133—134].

Приведение в систему песенного материала, записанного во второй экспедиции, заняло у Протасова 2 года. Второй рукописный сборник «Песни забайкальских старообрядцев», состоявший из 126 мелодий с текстами[1], до 1926 г. хранился в Иркутском губернском архиве [4, 118]. 16 первых песен из него: 9 духовных стихов и 7 свадебных причитаний было опубликовано[2] в этнографическом сборнике «Сибирская живая старина», изданном в Иркутске в 1926 г. к 75-летию ВСОРГО[1]. Редакция сборника намеревалась, «оберегая от возможной погибели сохранившийся от покойного этнографа труд ...хотя бы по частям и не достигая желательной степени изящества издания, напечатать «второй сборник» песен Протасова в том порядке, какой принят собирателем» [4, 119].

К сожалению, кроме 6 песен не было напечатано ни одной, а рукопись Протасова из архива исчезла. Если бы удалось найти ее, советская фольклористика обогатилась бы 110 самобытными песнями забайкальских старообрядцев ,семейских — хранителей исконно русской, старинной крестьянской песенной культуры. На наш взгляд, иркутяне должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти Второй рукописный сборник Н. П. Протасова. Искать нужно в личных архивах бывших редакторов «Сибирской живой старины» М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова, в рукописных отделах центральных библиотек, в библиотеке Иркутского краеведческого музея, и поиски могут увенчаться успехом.

Другое дело, материалы, преданные огню! М. П. Овчинников объясняет странный поступок Н. П. Протасова тем, что он был чем-то обижен на Восточно-Сибирский отдел РГО [17, 82]. Трудно восстановить драматические события, разыгравшиеся бо-

---

[1] 19 песен по какой-то причине в сборник не вошли.

[2] Тексты духовных стихов в этой публикации сильно сокращены. Полные тексты четырех из них приводит в своей работе о семейских известный советский языковед, славист, проф. А. М. Селищев: он пользовался Вторым сборником Протасова (8, 40—43).

[1] Для того, чтобы напечатать нотные строки, преподаватель Иркутского госуниверситета П. Ф. Требуховский вырезал их предварительно на линолеуме.

лее полувека назад. Можно лишь предполагать, что виной всему послужил тот факт, что Протасов, желавший получить место консерватора, то есть заведующего музеем ВСОРГО, не был избран на эту должность. Вероятно, в связи с этим, 8 декабря 1904 г., на следующий день после выборов, он подал в Распорядительный комитет заявление, в котором сквозит горькая обида: «Придя к тому сознанию, что я постоянно, то есть систематически что-либо работать для отдела по своему малому разумению и положению не могу, а состоять членом для счета считаю преступным, то я имею честь просить комитет с 10 декабря сего года не считать меня в числе своих членов» [1, д. 241, л. 147].

Распорядительный комитет ВСОРГО с поразительной легкостью удовлетворил просьбу Н. П. Протасова [3, 56—57], и имя талантливого сибиряка оказалось незаслуженно забытым.

Случайно обнаруженное в архиве ВСОРГО ГАИО письмо Н. А. Римского-Корсакова помогло воскресить страницу прошлого сибирской культуры, и деятельность Николая Петровича Протасова, надо полагать, еще найдет своих исследователей.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГАИО, ф. 293, оп. 1, св. 17, д. 234.
2. П. П. Хороших. Исторический очерк музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (1854—1920). Известия Восточно-Сибирского отдела Государственного русского географического общества, т. I, вып. I, Иркутск, 1926.
3. Отчет Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, за 1904 г., составленный Н. Н. Козьминым, Казань, 1906.
4. «Из архива. Песни забайкальских старообрядцев». «Сибирская живая старина». Этнографический сборник. Изд. Восточно-Сибирского отдела Государственного русского географического общества, под ред. М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова, вып. 2 (6), Иркутск, 1926.
5. «Сибирский архив». Журнал истории, археологии, географии и этнографии Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока, Минусинск, 1911—1912, кн. 5.
6. Георгий Виноградов. Этнографические изучения Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества 1851—1926. Известия... (см. /2/).
7. «Как я записывал народные песни». Отчет Н. П. Протасова о поездке в Забайкалье. Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, т. 34, 1903, № 2, Иркутск, 1904.
8. А. М. Селищев. Забайкальские старообрядцы. Семейские. Изд. Иркутского государственного университета, Иркутск, 1920.
9. А. М. Попова. Семейские. (Забайкальские старообрядцы.) Верхнеудинск, 1928.
10. Н. Дорофеев. Новый фольклорный коллектив. Ж. «Советская музыка», М., 1968, № 12.
11. Г. Риман. Музыкальный словарь Перевод с 5-го немецкого издания Б. Юргенсона, дополненный русским отделом. Перевод и все дополнения под ред. Ю. Энгеля. Нотопечатня П. Юргенсона, М., 1901.
12. Е. В. Гиппиус. Сборники русских народных песен М. А. Балакирева, ст. в сборнике: М. Балакирев. Русские народные песни для одного голоса с сопровожденнем фортепиано, под ред. Е. В. Гиппиуса, Музгиз, М., 1957.
13. «О собирании русских народных напевов». Архив Географического общества СССР при АН СССР, ф. I, оп. I, № 11.
14. Именная библиотека Квитки К. В. № 6030. Центральный музей музыкальной культуры им. Глинки. Москва, проспект Маркса, 2.
15. Истомин — Дютш. Песни русского народа. Собраны в губерниях: Архангельской и Олонецкой в 1886 г. Записали слова — Ф. М. Истомин, напевы — Г. О. Дютш. Изд. Русским географическим обществом, Спб., 1894.
16. Н. А. Римский-Корсаков. Сто русских народных песен для голоса с фортепиано. Соч. 24. Государственное музыкальное издательство. М.— Л., 1951.
17. А. Линьков. Судьба бумаг Н. П. Протасова. «Сибирский архив», Минусинск, 1914, № 2.



А. В. СМИРНОВ

СТО ТЫСЯЧ ПОЧЕМУ

Есть у меня знакомый человек Ленька. Ленька живет в деревне. Летом он целый день возится на пришкольном участке или бродит с ружьем по лесу. Однажды Ленька сказал:

— Что ты знаешь о картофельном грибе?

— Картофельном?— отвечаю я.—Как не знать! Этот гриб растет в земле и по форме напоминает картофелину. Его называют «трюфель» от слова «тартуфоли», что значит «картошка». Ищут трюфели в лесу с помощью собак...

— Постой,— перебил меня Ленька.— Я же тебя про трюфель не спрашиваю. Трюфель только имя носит картофельное и сам похож немножко на клубень картофеля, но к картофелю никакого отношения не имеет. Это самый настоящий гриб.

Тут я признался:

— Никакого картофельного гриба больше не знаю.

Схватил меня Ленька за рукав и потащил в огород.

— Куда ты меня тащишь? — упираюсь я. — Какие могут быть грибы в огороде? Только шампиньоны. За грибами люди в лес ходят...

— Вот видишь картофельный куст?— говорит Ленька.— Листья у него точно морозом побило. Выдерни-ка его.

— Вижу, что побило,— согласился я и дернул куст что есть силы. Разлетелись картофелины в разные стороны, а на них коричневые пятна. Точно погнили клубни.

— Вот тебе и картофельный гриб!— закричал Ленька. — Это фито-

фтора. Двадцать тысяч человек погибло только в одной Ирландии, когда в конце прошлого века фитофтора сгноила на крестьянских полях картофель.

— Ну ладно,— говорю я,— на огороде ты меня перехитрил. Пойдемка в лес.

В лесу я подвел Леньку к большому пню:

— Сколько лет было этому дереву, когда его срубили?

Ленька присел на корточки и давай подсчитывать на пне годичные кольца:

— Одно... два.... три... четыре... пять... Двести лет этому дереву было. Правильно?

Вот ведь хитрый — отгадал мою загадку!

— А теперь я загадаю!— кричит Ленька.

Отвел в сторону и показывает на сон-траву, на прострел. Его в Сибири зовут подснежником.

— Скажи, сколько лет этому подснежнику?

— Один год,— говорю.— Чего тут думать! Видишь, у него и цветок-то давно отцвел. Подснежник тебе не дерево, чтобы сотни лет жить.

— А почему бы подснежнику не жить сто лет?— возмутился Ленька и ухватился за цветок.

Тут меня такой смех разобрал!

— Ты бы еще меня на помощь позвал цветы рвать!

А смеяться-то и нечему было. Вдвоем мы едва вырвали подснежник из земли, потому что у него был толстый, как большая свекла, корень. Стебель над корнем был тоже толстый и мохнатый, весь в старых черешках.

Стал тут Ленька подсчитывать эти черешки, а потом те места, где черешки сидели в давно прошедшие годы. Долго считал. Уже сто лет насчитал подснежнику.

— Брось,— взмолился я,— вижу, что подснежники до ста лет живут. Ты вот лучше скажи, почему шишки можно найти не под каждой сосной?

— О-о, это просто! Шишки образуются из женских соцветий, а у сосны есть деревья, на которых растут только мужские соцветия. Там шишек не образуется. А вот ты найди хоть одну пихтовую шишку!

— Пожалуйста!— обрадовался я и кинулся к ближайшей пихте. Шишек под ней не было. И под другой тоже. И под всеми остальными.

— А шелуху от шишек под деревьями видишь?

— Верно. Значит, кто-то шишки съел!

— Никто их не ел. Они сами как созреют, так и рассыпаются. Одни стерженьки, как свечки, на ветках остаются.

И верно, когда я взглянул вверх, то увидел, что на верхушке торчат стерженьки пихтовых шишек.

— Эх ты, Почемучка.— Я даже рассердился на Леньку.— Только я тебя перепочемукаю. Я соберу сто тысяч «почему?»,— сказал я и, снарядившись, отправился в дорогу, навстречу приключениям и открытиям.

И НЕВИДИМОЕ МОЖНО УВИДЕТЬ

Труден путь по горной сибирской тайге.

Как ни чист живительный воздух гор, а когда взбираешься на гольцы — безлесные вершины гор над Байкалом, пот льет с тебя градом, и ты, в конце концов, в изнеможении опускаешься на землю.

Так было и в тот день, когда наш маленький экспедиционный отряд ботаников, с трудом преодолев полосу кедрового стланика, выбрался на альпийский луг. Кругом растилался ковер изумительно пышных и ярких цветов, но нам было не до них — так мы устали.

— Эх, было бы такое средство, чтобы не уставать!— вздохнул наш рабочий, молодой парень Аркаша.— Выпил бы сейчас стаканчик какого-нибудь элексира бодрости и пошел дальше как ни в чем не бывало.

— А давайте поищем,— предложил начальник отряда,— может быть, и найдется поблизости такое средство. Кто знает, вдруг здесь растет женьшень.— Лежа на лужайке он принялся рассматривать травы.— Твое счастье, Аркадий. Ну-ка, скажи, что это за корень?

Аркадий вскочил, забыв всякую усталость, и мигом очутился около начальника отряда.

— Это он!— закричал Аркаша.— Я узнаю его! Это знаменитый женьшень, корень жизни. И как это я его не заметил?

Но это не был настоящий женьшень. Слишком суров климат Сибири, чтобы могло это теплолюбивое растение сохраниться у нас с более теплых времен. И все же не зря начальник назвал найденное растение женьшенем.

Рассказывают такой случай. Много дней пробирался караван лошадей по сибирским горам. Путь был далекий. Овес с собою взять нельзя, тяжело очень. Травы нет, кругом только мох да лишайник. Лошади отощали и еле двигались.

Дорога шла все вверх и вверх. Высоко в горах воздух разряжен. Идти трудно. «Как же быть с лошадьми, ведь они совсем обессилеют?»— думали участники экспедиции. Но к общему удивлению чем выше взбирался караван в горы, тем бодрее становились лошади. Отряд двигался без остановки, а казалось, что кони хорошо отдохнули.

В чем дело? Кто-то из путников заметил, что когда миновали границу леса и вышли на крышу гор, лошади на ходу срывали и с жадностью глотали высокую траву с фиолетовыми цветами. Вот эта трава и помогала лошадям. Называют ее левзеей сафлоровидной. Ее отыскал для Аркадия начальник нашего отряда в тот день и назвал женьшенем.

Для человека, утомленного долгой работой, левзея — ценнейшее лекарство. Усталость быстро проходит, появляется бодрость, жизнерадостность. Теперь настойку левзеи можно найти в аптеке. Долгое время левзея была незаметной, такой же, как и другие травы, мимо которых проходили путешественники. И никто из них не подозревал, что рядом растет трава бодрости. Сейчас левзея получила «права гражданства».

Но осталось в лесах еще много трав ценных, о которых мы почти ничего не знаем.

Те, кто читал увлекательную повесть Григория Федосеева «Мы идем по Восточному Саяну», помнят то место, где писатель рассказывает о трудностях экспедиции топографов, оказавшихся без продуктов в сердце Саянских гор. У них были патроны, было мясо, но не было соли. Кто ел мясо без соли, тот знает, что второй раз есть не захочется.

Так вот, нашлось растение, которое заменило топографам соль. Название ему: сизая жимолость. Ее продолговатые сизые ягодки своим горьковатым привкусом сделали мясо съедобным.

Президент Академии наук СССР, ныне покойный ботаник Комаров, в своих воспоминаниях не раз приносил благодарность скромному кустарнику — сизой жимолости, которая своими плодами выручала экспедиции.

До сих пор сизую жимолость почему-то называют ядовитой. А она не только не ядовита, но и очень полезна. В народной медицине жимолость славится как средство, укрепляющее сердце. Сибиряки с больным сердцем иногда помногу запасают жимолости на зиму, тем более, что хранится она прекрасно.

А какое интересное растение душистый рододендрон! Он пахнет очень приятно. Заварив себе чайку в тайге из веточек этого растения, вы получите ароматный напиток, но зато не сможете уснуть ночью. Душистым рододендроном в последнее время очень интересуется Академия наук.

Есть еще много необычных растений. А есть и такие, которые не видел ни один человек в мире. Они еще ждут своих исследователей. Но найти и изучить их не так просто. Нужно быть наблюдательным, а этому тоже можно научиться, надо, не боясь усталости, путешествовать по лесным просторам нашей чудесной Родины.

Наталья БРАМЛЕЙ

ПОПОЛАМ

Мы бродили по полям,
По лесам бродили
И делили пополам
Все, что находили.

Тебе — цветок,
Тебе — грибок
И мне — грибок.
А ну, малыш,
Держи камыш!
Речку мы делить не стали,
Облака делить не стали.
Острова делить не стали,
Словно маленький орех.
Ведь леса, поля и дали
В мире созданы для всех.

ИЗЮБРЕНОК

Говорила мать изюбриха
Своему малышу-изюбренку:
Ты сиди, пожалуйста, тихо.
От тропы уходи — в сторонку.
В нашем древнем краю таежном
Надо вырасти осторожным.
Но бывает так с малышами:
Шаловливо взмахнув ушами,
Убежал изюбренок робкий
По запретной, таежной тропке.
А с годами он стал — изюбром
Преогромным и очень мудрым.
И тогда своему изюбренку
Говорил:
Уходи в сторонку.
В нашем древнем краю таежном
Надо вырасти осторожным.
Но бывает так с малышами,
Шаловливо взмахнув ушами,
Убежал изюбренок робкий
По запретной, таежной тропке...

СНЫ

С тобой мы входим в царство
Таинственной луны.
Она как врач лекарство
Прописывает сны.
И ты уснул в кроватке
И видишь сны пока,—
Всю ночь играют в прятки
Два резвых башмака.
Не видишь в лунный час ты,
Что делают чулки.
Смотри,— они гимнасты,
А стулья — турники.
Гуляет слон в квартире —
Тяжелые шаги.
И у него — четыре,
Как у стола, ноги.
Задумал толстый мячик
Угнать велосипед.
В седле он лихо скачет,
Забыв один секрет:
Ну как же на педали
Без ног ему нажать?
Поэтому едва ли
Сумеет убежать.
А может, это снится?
Пожалуйста, проверь:
Открой скорей ресницы,
Как открывают дверь.

РАДУГА

Теплый дождик лентяй
Шел издалека.
Стали разноцветными
В небе облака.
От того, что радостное
Небо над тайгой,
Радуга-радуга
Выгнулась дугой!
Посмотрел мальчишка
И кричит:
«Решил!
Перепилим радугу
На карандаши.
Много на свете
Живет малышей,
Много им надо
карандашей...
Эй, подходи!
Всем достанется,
Всем достанется,
Да еще останется!»

В. ТЕЛЯТЬЕВ

АПТЕКА ПОД НОГАМИ

Часто мы проводим свой досуг на лоне природы, рвем цветы, собираем ягоды, грибы, но каждый ли задумался над тем, чем, кроме красоты, может быть полезен тот или иной цветок, то или другое растение. А ведь растения — это и пища не только для животных, но и человека, это одежда, это строительный материал для наших жилищ, это сырье для химической промышленности и целого ряда отраслей народного хозяйства, это, наконец, и лекарства для лечения многих недугов человека и домашних животных.

Осень. Пора сбора плодов и ягод, грибов. Это пора сбора и лекарственных растений. В осенний период заготовке с лекарственными целями подлежат корневища аира, змеевика, клопогона даурского, кубышки желтой, левзеи; корневища валерианы лекарственной, горечавки, кровохлебки, синюхи: корни истода сибирского и тонколистного, лопуха; ягоды брусники, боярышника, калины, клюквы и целый ряд других лекарственных и технических растений.

Охотники, рыбаки, туристы, сборщики ягод, а то и просто отдыхающие на берегах рек с тихим течением, у озер и стариц не могли не обратить внимания на растение с пучками мечевидных листьев и отклоненным в сторону початком до 7 см длиной. Растение, которое часто встречается также и на болотах, иногда на заболоченных прибрежных лугах Иркутской и Читинской областей, в Бурятии и в Красноярском крае, в Якутской АССР и во многих местах Советского Союза — аир болотный.

Это растение родом из Индии и Китая. В Азии и Европе, где оно сейчас широко распространено, растение появилось благодаря татарам, которые считали, что аир, брошенный в воду, очищает ее. Татары возили с собой корневища аира во все походы. Останавливаясь у водоема, они бросали куски корневищ в воду и только после этого пили ее и поили коней. Корневища аира, таким образом, хорошо приживались на новых местах, и растение быстро распространилось сначала в Азии, затем в Восточной Европе. В Западную Европу аир был завезен значительно позже, в XVI веке, из Индии через Португалию.

Являясь растением теплого климата, аир в наших условиях хотя и цветет и плодоносит, но плоды у него не вызревают, остаются зелеными — на родине же плод у аира — красная ягода. У нас аир размножается вегетативным путем. Способность его корневищ хорошо приживаться и послужила причиной его быстрого и широкого распространения.

В местах произрастания аира часто можно встретить и другие растения, несколько похожие на него, но аир легко отличить от них. Если растереть листья аира и особенно его корневища, появляется приятный запах, присущий именно этому растению.

Корневища аира, которые заготовляют в качестве сырья, имеют весьма широкое применение. Их используют в медицине, парфюмерии, в пивоварении, кондитерском производстве. Их применяют в качестве пряности вместо лаврового листа, имбиря, корицы, мускатного ореха и в целом ряде других случаев.

Заготовляют корневища аира осенью, извлекая их из илистого грунта граблями или вручную, отмывают в воде для удаления земли, обрезают мелкие придаточные корни и листья и режут на куски длиной 15—30 см. Если корневище толстое, его расщепляют вдоль, затем провяливают на воздухе и высушивают в проветриваемых теплых помещениях или на чердаках под железной крышей. Иногда корневища аира высушивают в специальных огневых сушилках, но температура в этом случае не должна быть выше 25—30°. При более высокой температуре эфирное масло из корневищ улетучивается и они становятся непригодными к употреблению.

В своем составе корневища аира содержат эфирное масло, горький гликозид акорин, дубильные вещества, витамин С, камедь, смолы и другие вещества. В составе эфирного масла найдены: камфен, каламен, камфара, евгенол, проазулен и т. д. Корневища аира богаты крахмалом. Они также обладают фитонцидной активностью.

В медицинской практике применяют как само корневище аира, так и эфирное масло, получаемое методом перегонки с водным паром. Эфирное масло представляет собой

желтую густую жидкость приятного запаха и приятного вкуса. При вымораживании из масла выпадают твердые составные части, которые часто удаляют, получая таким образом жидкое эфирное масло, обладающее более приятным ароматом. Эфирное масло входит в состав комплексного препарата олиметин вместе с мятным, терпентинным, оливковыми маслами и применяется для лечения почечно-каменной болезни. Его используют в парфюмерной промышленности, особенно при производстве зубных порошков. Корневища аира в виде отвара и настоя применяют в качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, при воспалениях и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, поносах различного происхождения, как тонизирующее при угнетении центральной нервной системы. Иногда препараты аира назначают при болезнях почек, печени и желчевыводящих путей, при почечно-каменной болезни. Корневище входит в состав горькой настойки. Порошок корневища аира принимают на кончике ножа 3 раза в день при изжоге. Он входит в состав комплексных препаратов — викалин и викаир, применяемых для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гиперацидных гастритов.

Настои и отвары аира готовят из 10—20 г корневищ на 200 мл воды по общепринятому методу. Для этого измельченный растительный материал помещают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры (кипяченой) и ставят на водяную баню: настои — на 15 минут, отвары — на 30 минут. Время настаивания отмечают с момента закипания воды в бане. После настаивания настои охлаждают в течение 45 минут, а отвары — 10 минут при комнатной температуре и процеживают через марлю или цедилку, добавляя воды до предписанного объема.

Корневища аира входят в состав аппетитных и желудочных сборов в смеси с другими лекарственными растениями. Для возбуждения аппетита обычно готовят сбор, состоящий из 1 части травы полыни, 1 части корневища аира, 1 части листьев вахты и 1 части плодов тмина. Одну столовую ложку такой смеси заваривают стаканом кипятка, настаивают 20 минут, процеживают и принимают по столовой ложке за 15—20 минут до еды. При нарушении деятельности кишечника готовят желудочный чай (сбор), состоящий из 3 частей коры крушины, 2 частей листьев мяты, 3 частей листьев крапивы, 1 части корневищ аира и 1 части корня валерианы. Две столовых ложки смеси заваривают двумя стаканами кипящей воды, кипятят 10 минут, процеживают и принимают по половине стакана утром и вечером. Часто для тех же целей готовят сбор из 1 части корневищ аира, 3 частей коры крушины, 2 частей листьев мяты перечной, 2 частей листьев крапивы, 1 части корня одуванчика и 1 части корня валерианы. Этот чай готовят и применяют так же как и предыдущий. Наконец, горькая настойка готовится на галеново-фармацевтических предприятиях. Для ее приготовления берут 60 г травы золототысячника, 60 г листьев вахты, 30 г корневищ аира, 30 г травы полыни горькой, 15 г кожуры мандарина или горького померанца и 40° спирт до получения 1 л настойки. Готовят методом перколяции.

Большой популярностью корневища аира пользуются в народной медицине. Их применяют часто в тех же случаях, что и в научной медицине. Наряду с этим народная медицина рекомендует аир как хорошее бактерицидное и инсектицидное средство. Его жуют во время эпидемий гриппа с целью профилактики. Спиртовую настойку используют для промывания гноящихся ран и язв, для чего 1 часть настойки смешивают с 3 частями воды. Для улучшения заживления ран и язв их присыпают порошком корневищ аира. Спиртовой настойкой полощут рот при цинге. Широко применяли в народе корневища аира и при эпидемиях холеры, при сыпном тифе. В этом случае его рекомендовали жевать. Порошок аира на кончике ножа применяется при изжогах и повышенной кислотности, воспалении почек и мочевого пузыря. Препараты аира употребляют при желтухе, малярии, золотухе, диатезах, при рахите. При болезнях почек и мочевого пузыря часто, наряду с приемом внутрь препаратов аира, отвар, приготавливаемый из 30 г корневища на 1 л воды, применяют для сидячих ванн. Такие ванны особенно рекомендуют при заболеваниях женской половой сферы. При этом для приготовления отвара используют не только корневища аира, но и листья. При зубной боли применяют водочный отвар корневищ аира ,который готовят из 10 г мелкого порошка корневищ на пол-литра 60° спирта. Такой отвар готовят своеобразным методом. Порошок засыпают в бутылку, заливают

спиртом, плотно закупоривают пробкой, которую дополнительно обвязывают шпагатом и затем в стоячем положении обкладывают тестом и пекут подобно хлебу. Полученный водочный отвар набирают в рот и держат на больном зубе. Этот же отвар в народе применяют по рюмке в день при сильном кашле и подозрении на туберкулез перед обедом. После двухнедельного лечения, как утверждают в народе, кашель становится мягким, значительно улучшается аппетит и общее самочувствие больных. Отвар из корневищ аира применяют при выпадении волос, но этот метод, по сравнению с патентованными косметическими средствами, рекомендуемыми врачами, недостаточно эффективен. Часто в народе при выпадении волос и облысении применяется не чистый отвар из корневищ аира, а в смеси с другими лекарственными растениями. Обычно используют смесь из 20 г корневищ аира, 20 г корней лопуха, 20 г цветков календулы и 15 г шишек хмеля. Всю эту массу смешивают и заваривают 1 литром кипятку. Полученным настоем смачивают голову на ночь, втирая слегка в корни волос.

Препараты, применяемые народной медициной, обычно готовятся по своеобразной технологии. Настойка корневищ аира, применяемая в народной медицине, готовится следующим образом: 20 г измельченного корневища заливают 100 г спирта или водки и настаивают в теплом месте в течение 8 дней, часто взбалтывая, затем процеживают и применяют по 10—20 капель. Эту же настойку используют и при зубной боли, смачивая ею ватку и прикладывая к больному зубу. Настой и отвар готовятся из 10—15 г сухих измельченных корневищ на 200 мл воды. При этом настой чаще готовят в отношении 1 : 10 по той же методике, что и в научной медицине, но принимают его по четверти стакана. Отвар готовят обычно кипячением в течение 20 минут и принимают по одной столовой ложке перед едой три раза в день.

Народная медицина применяет аир и в детской практике при золотухе и рахите как один из основных компонентов смесей для ванн. В этом случае готовят смесь из 1 кг пшеничных отрубей, 200 г проросших зерен ржи, 1 кг корневищ аира, 200 г коры дуба, 200 г травы чебреца, 100 г коры ивы, 200 г листьев грецкого ореха, 200 г травы череды и 1 кг сосновых побегов. Полученную смесь заваривают в 12 л воды, процеживают, растворяют 200 г поваренной соли и купают ребенка 10—15 минут.

Вот, оказывается, какими полезными качествами обладает аир. Но и зная полезные свойства растений, и прежде всего их лекарственное применение, следует учитывать, что не всякое растение можно применять по собственному усмотрению. Даже безобидное лекарственное растение при неумелом применении может причинить больному организму большой вред. Поэтому в любом случае, прежде чем использовать то или другое растение с лекарственными целями, следует посоветоваться с врачом.

АЛЬМАНАХ «АНГАРА» № 5

Составитель А. М. Шастин

Редактор Л. А. Васильева

Худож. редактор А. И. Аносов

Технич. редактор А. В. Пономарева

Корректор Т. Н. Ковинина

Сдано в набор 26 сентября 1970 г. Подписано к печати 18 ноября 1970 г. Печ. л. 8,77. Уч.-изд. листов 10,44. Бумага тип. № 3. Формат 70×90 $^1/_{16}$. Тираж 5000 экз. Заказ № 4117. НЕ 08241. Цена 40 коп. Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36. Типография «Восточно-Сибирской правды», ул. Советская, 109.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Если вы любите художественную литературу — прозу и поэзию — и вас волнуют социальные проблемы,—

ВЫПИСЫВАЙТЕ АЛЬМАНАХ «АНГАРА»

Если вас интересует прошлое, настоящее и будущее Иркутской области и Забайкалья, если вам нравятся путешествия и приключения и вы любитель пофантазировать,—

ВЫПИСЫВАЙТЕ АЛЬМАНАХ «АНГАРА»

Каждые два месяца вам принесут на дом свежий номер альманаха «Ангара», в котором вы найдете и серьезную прозу, и юмор, и фантастику, и приключения, и публицистику, и краеведческие материалы, и детский раздел «Туесок» —

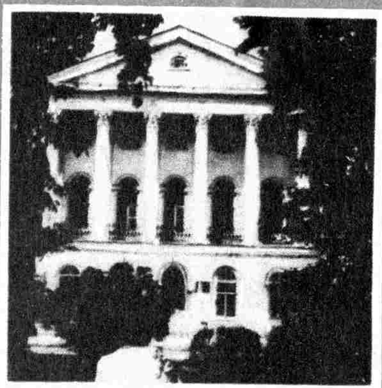
ВЫПИСЫВАЙТЕ АЛЬМАНАХ «АНГАРА»

В 1971 году на страницах альманаха «Ангара» вы прочтете произведения поэтов и писателей из Иркутска, Читы, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ и других городов Советского Союза. Валентин Распутин и Марк Сергеев, Геннадий Машкин и Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов и Георгий Граубин, Илья Фоняков и Владимир Костров, Валентина Марина и Елена Жилкина, Ростислав Филиппов и Петр Реутский, Константин Седых и Василий Балябин, Лев Кукуев и Иннокентий Луговской, Анатолий Шастин и Дмитрий Сергеев, Виктор Киселев и Геннадий Николаев, Евгений Раппопорт и Виктор Соколов — все эти литераторы обещали альманаху свои произведения.

ВЫПИСЫВАЙТЕ АЛЬМАНАХ «АНГАРА»

В 1971 году будут опубликованы новые уникальные материалы о творчестве В. МАЯКОВСКОГО и И. ЭРЕНБУРГА, рассказы И. БАБЕЛЯ и стихи Н. АСЕЕВА, интереснейшие очерки и рассказы о пограничниках, приключенческая повесть, написанная на погранзаставе Забайкальского погранокруга. Статьи о Китае и Монголии, переводы иностранных авторов и многое другое вы прочтете, если

ВЫПИШЕТЕ АЛЬМАНАХ «АНГАРА»!



знаете ли вы архитектуру своего города



ИРКУТСК

40 коп.